С. АЛЯНСКИЙ

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

С. АЛЯНСКИЙ ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ



Александр Блок.

С. АЛЯНСКИЙ

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1972

8 Р2
А 60

Оформление
Ю. Киселева

7—6—3

Автор этой книги Самуил Миронович Алянский — один из старейших работников советского книгоиздательского дела, человек, отдавший искусству книги большой свой опыт и всю душевную энергию. Известен Алянский и как организатор издательства «Алконост», с маркой которого в 1918 году впервые вышло в свет иллюстрированное блоковское чудо — «Двенадцать».

Я узнал этого редкого человека около полустолетия назад. Он никогда не любил как-нибудь «представляться», не мнил себя благодетелем поэтов, ни — тем паче — литератором: писать он всегда стеснялся, как его, бывало, ни уговаривали. И вдруг — с необыкновенной искренностью, с настоящим психологическим раскрытием создал рассказ об Александре Блоке!..

Воспоминания Алянского дороги прежде всего как история фактов удивительной жизни поэта от наивысшего взлета до трагедии смерти. Все неоспоримо. Все правдиво до безжалостности. И — подлинное лицо Блока в сопоставлении с разительными портретами его современников. И многое иное.

Не сомневаюсь, что эти записки, незаурядные для истории нашей литературы, будут с интересом встречены читателями, включая многочисленных молодых почитателей Александра Блока.

1969 г. *Конст. Федин*

КОРОТКО О МОИХ ГИМНАЗИЧЕСКИХ ГОДАХ

С третьего класса мне пришлось заботиться о заработке, который давал бы возможность учиться в гимназии.

Единственной работой, доступной в моем положении и возрасте, было давать уроки неуспевающим гимназистам.

Так добывали свой заработок большинство гимназистов, детей неимущих родителей. Так гимназистом зарабатывал и мой старший брат.

Приходилось бегать по урокам — натаскивать неспособных недорослей и избалованных лентяев, среди которых были иногда мальчики и постарше меня. С одними я занимался в продолжение всего учебного года, других готовил к весенним переходным экзаменам или к осенним переэкзаменовкам.

И так все гимназические годы.

Это была утомительная, скучная работа. Она давно осточертела мне, и я подумывал, чем бы ее заменить.

Весной 1908 года, после окончания переходных экзаменов в седьмой класс, мой одноклассник и товарищ по литературному кружку Василий Васильев рассказал мне о своей работе в библиотеке известного в Петербурге соби-

рателя-библиофила Левкия Ивановича Жевержеева. Васильев работал там библиотекарем, составлял карточный каталог.

Васильев рассказал, что за последние годы библиотека разрослась и Жевержееву пришло в голову напечатать каталог типографским способом. Он решил разослать его по фундаментальным библиотекам страны. Но прежде Жевержеев пригласил ученых-библиографов, чтобы проверить, правильно ли у него ведется описание книг на карточках.

Ученые высоко оценили собранные книги, отметили их библиографическое и художественное значение и предложили для будущего каталога вести описание книг поиному.

Новый список сведений, необходимых для записи на карточках, значительно расширился. Объем работы увеличился, и Жевержеев предложил Васильеву найти себе помощника.

Советуя мне бросить беготню по урокам и пойти на работу к Жевержееву, Васильев сказал:

— Помимо заработка, который даст тебе возможность спокойно учиться,— эта работа очень интересна: ты будешь держать в руках и перелистывать замечательные, редчайшие книги. Таких изданий ты никогда не видел.

Васильев наговорил еще кучу соблазнительных вещей и возвышенных слов и, заканчивая свою тираду, воскликнул:

— Ни в одной гимназии не получишь таких драгоценных знаний, какими ты обогатишься в этой библиотеке!

Эти слова были сказаны потому, что мы все, учащиеся гимназии С. А. Столбцова, высоко ценили и любили свою гимназию.

Но Васильеву вовсе не нужно было меня уговаривать,

я и раньше знал о его работе и втайне давно ему завидовал.

Открылась наконец возможность избавиться от уроков, и, не раздумывая, я тут же согласился.

Здесь не могу удержаться, чтобы не рассказать хоть коротко о светлых годах моего детства и юношества, проведенных в гимназии С. А. Столбцова, что была на Невском проспекте, 102.

Эта частная гимназия возникла после революционных событий 1905 года. Основателем ее была группа учителей, уволенных из казенных гимназий за участие в революционном движении или за открыто выраженное к ним сочувствие. К основателям гимназии присоединились и родители гимназистов старших классов, исключенных из разных гимназий за участие в революционных кружках того времени.

Уволенные учителя оказались не только передовыми людьми, они были еще даровитыми педагогами, влюбленными в предметы, которые преподавали нам.

Первые три класса я учился в казенной Введенской гимназии, а в девятьсот шестом году я перешел в четвертый класс гимназии Столбцова, куда попал мой старший брат, раньше исключенный из Введенской гимназии.

Первое время у Столбцова были открыты только старшие классы, начиная с четвертого.

Вместе со мной в четвертый класс поступил Васильев Василий и Кнорре Георгий.

В нашем классе было всего пятнадцать гимназистов. Почти все мы были хорошо подготовлены и неплохо учились. Нашими новыми преподавателями мы были довольны, но больше всего нам повезло с учителями русского языка и математики.

Учитель русского языка Николай Васильевич Балаев заботился не только о том, чтобы мы грамотно писали и умели излагать свои мысли, но больше всего он хотел научить нас самостоятельно мыслить и пробудить живой интерес к литературе. Он рекомендовал нам побольше читать дома.

— У вас еще мало своего жизненного опыта,— часто повторял он,— используйте опыт, знание жизни и искусство крупнейших художников слова — наших классиков.

На каждом уроке нам задавали прочитать какое-нибудь произведение, а через два-три урока каждый из нас непременно должен был участвовать в обсуждении прочитанного.

Первое время непривычные для нас занятия проходили вяло, но Балаев терпеливо и настойчиво помогал нам преодолевать застенчивость и исправлял наше косноязычие. Заразительная увлеченность Николая Васильевича и его упорство скоро сказались: к следующему учебному году уроки русского языка стали для большинства из нас самыми интересными и увлекательными.

Влюбленный в поэзию, учитель не пропускал урока, чтобы не прочитать нам что-нибудь из Пушкина или Лермонтова, а из современных поэтов он иногда читал нам Блока, при этом он каждый раз обращал наше внимание и призывал вслушиваться в музыкальный строй и ритм поэзии.

А однажды Балаев пришел к нам в класс торжественный, веселый и сказал:

— Сегодня у нас большой праздник. Запомните этот день: сегодня двадцать шестое мая — день рождения нашего Пушкина. Сегодня я хочу прочитать вам отрывки из «Евгения Онегина», сколько успею за урок.

Балаев читал нам наизусть отрывок за отрывком, читал вдохновенно и музыкально. До сих пор я слышу эту напряженную тишину в классе и музыку стихов Пушкина.

И в этот день он навсегда покорил нас.

Пять человек из нашего класса, наиболее увлеченные и нетерпеливые, создали внеклассный литературный кружок, а через короткое время Николай Васильевич завлек туда некоторых своих учеников из других классов и даже из других гимназий.

Балаев бывал почти на всех наших собраниях и держался с нами как товарищ. Руководителем же кружка он рекомендовал нашего товарища по классу, Георгия Кнорре. Это был культурный и многогранно одаренный человек, впоследствии видный ученый.

Занятия в нашем литературном кружке отличались от занятий в гимназии тем, что каждый из кружковцев самостоятельно выбирал тему своего реферата, а выбрав, сообщал о ней товарищам, чтобы они могли заранее подготовиться. Обсуждение рефератов проводилось так же, как в гимназии, каждый должен был высказать свое суждение о нем.

Помимо рефератов о произведениях классиков художественной литературы, запомнился реферат Георгия Кнорре о критических работах Белинского и Писарева. Это был блестящий, острый анализ работ крупнейших критиков, вызвавший страстные споры. Этот реферат и дискуссия о нем до сих пор живы в памяти.

Большую роль в нашей жизни сыграли литературный кружок и уроки русского языка: они приучили нас самостоятельно думать, формировали и оттачивали наши вкусы, научили слушать и понимать музыку стиха, ненавидеть мещанство и всякое проявление пошлости.

Литература и искусство стали нашей потребностью.

БИБЛИОТЕКА Л. И. ЖЕВЕРЖЕЕВА

Знакомство с Левкием Ивановичем Жевержеевым и работа в его библиотеке во многом определили мою дальнейшую судьбу и профессию издательского работника.

Левкий Иванович был владельцем парчово-ткацкой фабрики, но в Петербурге он был известен гораздо больше как собиратель, коллекционер.

Фабрикой своей Жевержеев совсем не интересовался; там дело шло по давно, должно быть, еще его отцом заведенному порядку. Сам же он отдавал все свое время и средства поискам и собиранию редких книг.

Книги Жевержеев собирал преимущественно русские, и почетное место среди них занимали первые издания сочинений наших классиков. Было в библиотеке много русских иллюстрированных изданий, книги по изобразительному искусству. Большой раздел в шкафах занимала современная русская поэзия, произведения поэтов всех направлений и группировок: от символистов до крайних футуристов и ничевоков.

Библиотека росла на моих глазах. Помимо того, что в ней увеличивалось количество редких книг, там шел непрерывный процесс отбора: хорошие экземпляры заменялись лучшими.

Среди библиофилов собрание книг Жевержеева считалось одним из лучших в Петербурге. Кроме книг, Жевер-

жеев собирал все, что относилось к истории русского театра: эскизы декораций и костюмов, портреты знаменитых актеров прошлого в ролях и в жизни, рисунки, гравюры и литографии с изображением сцен из спектаклей,— словом, все, что отражало историю русского театра.

Была у Жевержеева еще одна страсть — он любил собирать у себя деятелей литературы и искусства различных направлений.

Кто только не бывал на «жевержеевских пятницах»! Там можно было встретить поэтов и художников, актеров и режиссеров, композиторов и искусствоведов. Там я впервые увидел Велемира Хлебникова, молодых художников: Давида Штеренберга, Владимира Маяковского, который тогда выступал больше как художник, братьев Давида и Николая Бурлюков и других представителей искусства. Все они были люди молодые и шумные. Самым скромным и тихим на пятницах был сам застенчивый хозяин, которого никто из гостей не замечал. Он никогда не ввязывался в горячие споры, сидел где-нибудь забившись в угол и молча внимательно слушал возбужденные, шумные речи, иногда только улыбнется или нахмурится; он наслаждался атмосферой молодости.

Это было время, когда прогрессивная художественная интеллигенция: писатели, художники, композиторы, деятели театра—каждый своими средствами выражал протест против общественного строя, против пошлости и мещанских вкусов.

Режиссер и постановщик Всеволод Эмильевич Мейерхольд показывал свои новаторские постановки в драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской

улице, а замечательный живописец Кузьма Сергеевич Петров-Водкин выставил свою знаменитую картину «Купание красного коня», наделавшую тогда так много шуму. В литературе появились новаторы многих направлений — вплоть до крайних футуристов.

Все консервативное и косное, что было в обществе, с остервенением обрушилось на новое искусство, а наиболее одаренные представители нового подвергались грубым нападкам в правых газетах.

Группа молодых литераторов и художников, постоянных посетителей «жевержеевских пятниц», объединилась в общество «Союз молодежи». Они устраивали художественные выставки, литературные вечера, диспуты.

Обширная квартира Жевержеева являлась как бы «главным штабом» «Союза молодежи» — здесь собирались картины для очередной выставки, готовились и обсуждались предстоящие литературные вечера, диспуты, сочинялись манифесты. Здесь же возникла и та «кухня», где готовились самые «острые блюда», среди которых были и «новые пощечины общественному вкусу». Здесь всегда было весело и шумно.

Трудно было понять, что было общего у Жевержеева, этого скромного, тихого человека, собирателя наследия культуры XVIII — XIX веков, с буйной молодежной голытьбой.

Как все это в нем уживалось?

По инструкции ученых-библиографов для описи библиотеки Л. И. Жевержеева от нас (В. Васильева и меня) требовалось: переписать полностью титульный лист, измерить и записать высоту и ширину книги в миллиметрах,



Обложка к пьесе А. Блока «Песня судьбы».
Художник А. Головин.

указать, сколько в книге страниц, и отдельно отметить, сколько страниц римской и сколько арабской нумерации, сколько в книге иллюстраций и каким способом они напечатаны (гравюра, литография, фототипия, автотипия, штрих и др.). Словом, на карточке надо было отразить все сведения о книге, а их было много, всех здесь не перечислить.

Мы в шутку говорили, что в инструкции упущено лишь одно указание: это — обнюхать книгу со всех сторон и запах записать на карточку.

Кроме инструкций, нам дали несколько книг по печатному делу, по которым мы должны были изучить все виды печати и как их различить.

И еще одно. Нам надо было разбирать пакеты книг, почти ежедневно поступавшие из книжных магазинов. Это были книги, отобранные накануне Жевержеевым или антикварами, знавшими круг интересов библиофила. Если в присланных пакетах оказывались книги, которые имелись в наших шкафах, их надо было тщательно сличить. И если в новом экземпляре обнаруживалось какое-нибудь преимущество перед нашим, новый ставился на полку шкафа, а старый переселялся в коридор, на полки дубликатов. Таким образом, хороший экземпляр заменялся лучшим.

Так происходил отбор.

Тогда, в гимназические годы, мы относились к книге как к источнику знаний и духовных ценностей и мало обращали внимания на внешнюю форму книги. Поэтому все сведения, записанные с такой тщательностью на карточки, я долго считал блажью досужих библиографов и библиофилов.

...В работу я входил медленно, с трудом, но все требования инструкции старался выполнить точно.

Больше пяти лет с небольшими перерывами продолжалась наша работа по описи библиотеки. Мы перебрали тысячи замечательных книг, каждую внимательно осмотрели и по нескольку раз перелистали в поисках сведений для записи на карточку.

Интерес и вкус к работе пришел не сразу.

Перелистывая книгу за книгой, я стал замечать, что все чаще и чаще останавливаюсь.

То вдруг задержишься над зацепившими глаз строчками текста, от которого невозможно оторваться.

То остановишься над иллюстрацией, чем-то изумившей.

То залюбуешься титульным листом — он бывает иногда таким торжественным, таким нарядным входом в книгу, что невольно остановишься, пораженный. А налюбовавшись, хочешь переступить порог этого приглашающего входа: хочешь войти и познакомиться с сокровищем, таящимся внутри.

А вот совсем скромная книга, в ней все просто, нет никаких иллюстраций, лишь одна небольшая узорная линеечка пробегает поверху каждой страницы, и как странно — она зовет и тянет тебя за собой. Удивительно!

Или вот — настоящее чудо. Небольшая книжечка стихов, никаких украшений, и только на последней странице — небольшой трогательный букетик полевых цветов. С какой любовью положен он в конце стихотворения благодарным читателем — поэту!

Страницы книг начинают оживать. Незаметно приходит увлечение работой.

Постоянно открывается тайный смысл труда библиографов. Становится понятной таинственно притягательная сила книги, напечатанной при жизни автора, если то ста-

рая книга. Становится понятной ненасытная страсть библиофилов.

Я научился высоко ценить и уважать искусство замечательных безвестных мастеров-художников, создавших изумительные элементы книжных украшений для акцидентного набора.

К сожалению, эти украшения давно выброшены из наших наборных касс.

Я понял и оценил прекрасный труд мастеров наборного искусства, метранпажей, печатников и переплетчиков. (Кстати, к профессии переплетчиков у меня с малых лет, как себя помню, и до сих пор сохранилось особое, уважительное отношение. Еще ребенком я привык и любил наблюдать за работой моего отца, кустаря-переплетчика, а когда подрос, помогал ему и впоследствии сам научился переплетать книги на кустарных станках.)

В библиотеке Жевержеева я насмотрелся чудесных изданий, созданных творческим трудом многих безвестных мастеров-полиграфистов.

Именно здесь, в библиотеке, был заложен фундамент моей будущей приязни к книге, к искусству книги.

Книга становилась для меня не только источником духовного богатства, она становилась еще и предметом искусства.

КНИЖНАЯ ЛАВКА НА КОЛОКОЛЬНОЙ УЛИЦЕ

1917 год застал меня в Новгороде, там я проходил военную службу.

Вскоре после Февральской революции я вернулся домой и первое время слонялся по улицам Петербурга, наслаждаясь необычным для города оживлением.

По проезжей части Невского на большой скорости носились грузовики, набитые рабочими-красногвардейцами в красных нарукавных повязках, с винтовками, солдатами и матросами. А на крыльях машин каким-то непонятным образом устроились матросы с пулеметами. Вид этих машин был угрожающий; казалось, вот-вот они начнут палить. Но никто их не боялся, наоборот—их всюду встречали улыбками и одобрением. Они просто демонстрировали победу революции.

А на тротуарах кучками собирались люди, горячо обсуждавшие происходящие события, новости и слухи, носившиеся по городу; здесь шли споры о войне, о союзниках. Здесь раздавались возгласы о том, что сперва надо бы закончить войну, а уж потом заниматься революцией, обсуждались все возникшие проблемы.

Однако надо было думать, чем бы заняться, где найти работу. Я отправился к Васильеву. Он тоже недавно вернулся из армии и тоже был озабочен поисками работы.

Васильев рассказал, что накануне был у Жевержеева и тот предложил ему временную работу — ликвидировать скопившиеся за много лет дубликаты библиотечных книг. Книг было много; таскаться с ними по библиофилам и антикварным магазинам показалось Васильеву делом тяжелым, и тут у него возникла мысль: а не открыть ли с этими книгами книжную лавку?

Жевержееву эта мысль понравилась, он сказал, что готов отдать все свои дубликаты в лавку на комиссию. Рассказав все это, Васильев предложил мне вместе с ним взяться за это дело.

И мы взялись.

Придя к Жевержееву на следующий день, мы застали Левкия Ивановича в библиотеке за разбором книг. Он обрадовался нам, забросал вопросами, рассказал о себе и о своем детище, «Союзе молодежи», и с грустью добавил, что молодежь разбежалась, видно, он ей больше не нужен.

Делясь с нами дальнейшими планами, Жевержеев сообщил о своем намерении передать всю библиотеку и остальное собрание какому-нибудь государственному хранилищу, но он только не решил еще, какому именно.

Через некоторое время Жевержеев свое намерение осуществил: предметы, относящиеся к истории театра из собрания Жевержеева — эскизы декораций, костюмов, литографии, гравюры, портреты артистов и другие материалы,— попали сначала в государственные театры, а позднее, в конце 1918 года, были переданы Петроградскому театральному музею.

Левкий Иванович Жевержеев состоял в этом музее помощником директора со дня его основания до конца жизни. Он скончался в 1942 году, в блокаду Ленинграда.

Судьба библиотеки Жевержеева мне не известна.

...Жевержеев рассказал нам, что занят разборкой дубликатов, скопившихся за все годы собирательства. Их оказалось неожиданно много, и места много занимают, да и деньги нужны, вот он и решил их продать.

— Спасибо, что не забыли старика! Давайте вместе займемся разборкой этих дубликатов, ведь вы их лучше меня знаете,— закончил он свой рассказ.

Мы на самом деле хорошо знали жевержеевские дубликаты. Знали все достоинства и недостатки каждой отдельной книги. Помнили их, когда они еще не были дубликатами, когда они украшали полки лучших шкафов библиотеки. Помнили, как Жевержеев с гордостью показывал их своим друзьям библиофилам. Не забыли, как тщательно записывали на карточки все их особенности. Помнили мы и то, как их вытеснили с почетных полок более счастливые экземпляры тех же книг, имевшие незначительное преимущество. Мы очень хорошо помнили, как эти бывшие фавориты попали из светлых шкафов красного дерева на скромные сосновые полки в темный коридор.

И вот настал момент, когда хозяин задумал лишить их даже этого последнего, незавидного пристанища. Теперь они попадут опять на полки неизвестного книжного магазина, а там вновь начнется их беспокойная жизнь и путешествие по полкам коллекционеров.

Незавидна участь этих вечных странников, невольных спутников моей жизни и работы...

Вопрос о помещении был решен так. На Колокольной улице в небольшом двухэтажном домике, примыкавшем к ограде Владимирского собора, в первом этаже жила вся наша семья. Мы договорились с моими родителями, и нам разрешили отделить полкомнаты с окном и дверью, выходившими на улицу.

Оставалось заказать перегородку, полки для книг и вывеску.

Все оборудование было готово через две недели, и, пока мы разбирали книги, расценивали их и расставляли по полкам, была готова вывеска.

На большом подрамнике был натянут простой серый холст, а на холсте черной и золотой краской написано крупно старинной вязью:

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Вывеска растянулась на весь фасад домика и казалась очень внушительной. Она обещала гораздо больше того, что было в лавке.

На открытие лавки первым пришел Левкий Иванович Жевержеев. Для почина он купил у нас одну из своих книг (других у нас еще не было).

Книжная торговля в Петербурге издавна сосредоточивалась на Литейном проспекте, там можно было найти и редкую антикварную книгу, и новинку художественной литературы и искусства, а также и все новое, что появлялось в научной литературе. Словом, за любой книгой покупатель шел на Литейный.

Мы это отлично знали, и, решив открыть свою книжную лавку на Колокольной улице, на которой до того, кроме керосиновой и мелочной лавок, никаких других лавок не бывало, мы приготовились к тому, что нам долго придется ждать покупателя. Но что оставалось делать? Снять помещение получше и оборудовать его мы не могли —

АЛЕКСАНДР БЛОК

ЯМБЫ



„АЛКОНОСТ"

ПЕТЕРБУРГ.

1919

Обложка к сборнику стихотворений
А. Блока «Ямбы».
Художник Н. Купреянов.

не позволяли средства. Да и рисковали мы только своим временем и трудом.

Большинство книг в лавке были старые, антикварные, но были среди них еще и редкие книги современных поэтов.

Случилось так, что среди библиофилов довольно быстро разнесся слух, что на Колокольной открылась лавка, в которую попала часть известной в городе библиотеки Жевержеева, и страстные библиофилы потянулись к нам. Торговля пошла бойко.

Запас жеверженевских дубликатов, который раньше не умещался на наших полках и казался нам неисчерпаемым, стал быстро таять. Новых поступлений почти не попадалось. Надо было чем-то заполнять опустевшие полки. К этому времени слух о лавке на Колокольной распространился дальше; пришел новый покупатель, который искал не антикварную, а новую, но уже редкую книгу стихов современных поэтов. Этот покупатель был нам духовно ближе.

Надо было искать пополнения полок в издательствах и на книжных складах.

Между собой мы распределили работу так: Васильев занимался продажей и покупкой книг в лавке и все время находился на месте, а мне приходилось раздобывать их в издательствах и на книжных складах. Кроме того, чтобы узнавать о всех вышедших новинках, мне нужно было ежедневно обегать все книжные магазины на Литейном.

Такое распределение обязанностей было вызвано тем, что Васильев гораздо лучше меня знал антикварные книги и умел терпеливо объясняться с дотошными библиофилами, а я, по характеру более подвижный, носился по городу.

Петербургские издательства выпускали мало новых книг, а те, которые выходили, все имелись на Литейном.

Нам же для привлечения покупателей нужно было держать книги, которые на Литейный не попадали.

Старые петербургские книготорговцы с начала революции утратили связь с московскими издательствами. Самим связаться с Москвой — был единственный шаг, способный оживить замиравшую торговлю на Колокольной.

А пока, чтобы не оставлять лавку совсем без книг, мы решились на отчаянную жертву. Каждый собрал все свои личные книги и принес их в лавку. Это помогло нам заполнить четыре полки редкими сборниками стихотворений поэтов начала века, которые мы с гимназических лет собирали, соревнуясь друг с другом. Среди них были, разумеется, и любимые нами сборники поэтов-символистов.

Первый раз я поехал в Москву в конце 1917 года. В это время поездка из Петербурга в Москву была нелегким делом. Дальние поезда заполняли главным образом люди военные — либо в черных бушлатах, либо в серых шинелях.

Моя солдатская шинель открывала мне двери если не всех, то многих вагонов.

Трудности переездов между Петербургом и Москвой вконец разладили культурные и деловые связи между обоими городами. Такое положение создавало благоприятную почву для разного рода вздорных слухов как в Питере, так и в Москве. Казалось, что Москва отъехала далеко, за море.

В Москве я побывал в издательствах, в которых надеялся найти нужные нам книги: у Сабашниковых, в «Скорпионе», в «Мусагете», в «Альционе» и в других издательствах, выпускавших книги современных писателей. Скромные средства не позволяли купить многого, что хотелось, но те два пакета книг, которые мне удалось

раздобыть и привезти, были крупным событием для любителей новой поэзии.

Книгоиздатели и книготорговцы Москвы забрасывали меня вопросами о петербургских писателях и поэтах, об издательствах, о новых книгах. Я мог рассказывать только о новинках. Писателей я не знал, и мне было очень стыдно, когда, как-то встретив в лавке писателей на Никитской Сергея Есенина, я не мог ответить на его вопрос о том, как живет Александр Блок. Есенин укоризненно покачал головой и сказал:

— Как же так — живете в одном городе с Блоком и ничего о нем не знаете! Какой же вы книжник?

Я действительно оказался плохим книжником и решил по приезде в Питер разузнать где возможно о Блоке, кстати и о других поэтах, чтобы в следующую поездку рассказать Есенину все, что узнал.

Московские новинки впервые после революции появились только в нашей лавке па Колокольной. И как вначале библиофилы раззвонили о нашей лавке, так и теперь новый покупатель пустил слух о наших приобретениях, и к нам потянулись люди за московскими новинками. И если бы не они, лавку пришлось бы закрыть.

Теперь мне часто приходилось ездить в Москву за пополнением, благо проезд по железной дороге был бесплатный.

Отныне подбор книг в лавке отражал наши личные симпатии и вкусы; в ней преобладала современная поэзия. Единственным огорчением было то, что пока мы заполняли полки московскими новинками, наши личные книги покупатели успели быстро раскупить.

Особенным спросом и вниманием наших покупателей пользовались книги поэтов-символистов, а среди них больше всего спрашивались книги Александра Блока, и отныне добывание их стало нашей главной заботой. Но книг

АЛЕКСАНДР БЛОК

РОССИЯ
и
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

(1907—1918)

„АЛКОНОСТ"
ПЕТЕРБУРГ
1919

Обложка к книге А. Блока
«Россия и интеллигенция»
(наборная).

Блока нигде не было. Я обегал все петербургские и московские склады и ничего не нашел.

Кому-то из нас пришло в голову обратиться к самому Блоку и узнать, с каким издательством он связан, скоро ли появятся его стихи, и заодно спросить, не осталось ли у него что-нибудь из авторских экземпляров.

Но как обратиться? Как искать знакомства с ним? И, наконец, кому из нас говорить с Блоком?

Нас одолевала страшная робость: Блок был нашим кумиром.

Честь первого знакомства с поэтом каждый из нас уступал другому. Уговоры друг друга ни к чему не привели, и мы решили бросить жребий.

Жребий пал на меня.

Я разыскал номер телефона Блока, приготовил первую фразу, с которой собирался обратиться к поэту, а дальше решил: будь что будет. Почему-то я предполагал, что к телефону непременно подойдет сам Александр Блок, и, когда услышал низкий женский голос, растерялся, не нашелся даже что сказать. В трубке повторили, что слушают. Я, как мне показалось, не своим голосом попросил позвать Александра Александровича. Голос спокойно меня допрашивал: кто я такой и зачем мне нужен Блок? Я назвал себя и старался как можно подробнее объяснить, что я вовсе не хочу беспокоить Александра Александровича, но что мне очень нужны его книги для продажи, что их очень трудно достать и что их беспрерывно спрашивают. Рассказал про нашу лавку, спросил, с каким издательством Блок связан, и, наконец, просил узнать, не остались ли у Блока какие-нибудь авторские экземпляры любого издания.

Я, должно быть, так обрадовался, что к телефону подошел не сам поэт, что выпалил сразу все, о чем мы с Васильевым приготовились сказать Блоку.

Когда я кончил, голос попросил подождать у телефона.

Во время разговора рядом со мной стоял Васильев. Он волновался, что-то шептал мне, подсказывал, сердился. А я не умею слушать одновременно двоих и не мог понять, что Васильев хочет, чем недоволен, прошу его подождать. Наши пререкания прервал все тот же голос в трубке: Александр Александрович просит меня приехать к нему вечером.

Когда телефонная трубка была повешена, Васильев долго, с сердцем выговаривал за то, что я слишком развязно говорил.

Я готов был признать, что говорил плохо,— это произошло, должно быть, потому, что волновался. Но чтобы не повторить ошибки, я просил Васильева поехать к Блоку вместо меня или вместе со мной. Я уговаривал его, просил, умолял и угрожал, что могу наделать еще больше оплошностей, но на все это услышал короткий, неумолимый ответ:

— Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!

По мере того как я мрачнел, Васильев успокаивался. Он пытался объяснить, в чем была моя ошибка: он считал, что мне не следовало говорить прямо о нашей цели, он напомнил, что Блок — крупнейший поэт нашего времени и просить его продать книги по меньшей мере бестактно. Надо было говорить как-то иначе, дипломатичнее, как-нибудь иносказательно, а не так, как ты привык говорить с книгопродавцами: пусть, мол, продаст нам книги.

В словах Васильева было столько негодования и искренней горечи, что я почувствовал себя уничтоженным и, не видя выхода из этого позорного положения, снова стал умолять Васильева пойти вместо меня. Но это ни к чему не привело.

Что оставалось делать? Я готов был вовсе отказаться от поездки к Блоку, но Васильев объяснил мне, что это невозможно. Это и малодушие, и трусость, и нарушение

выпавшего мне жребия, и, наконец, самое главное: нельзя забывать, что Блок пригласил, назначил время, будет ждать, а ведь Блок — это... Дальше последовал ряд пышных восклицаний.

Я понял, что не ехать нельзя. Я просил хотя бы совета, но из всех восклицаний и заумных философствований моего компаньона так ничего толкового и не извлек.

Я понял одно: что дело, ради которого мы искали встречи с Блоком, уже провалилось, а ехать все равно надо, хотя бы ради того, чтобы что-то загладить, в чем-то оправдаться, вылезти из какой-то неприятной истории.

С тяжелым сердцем и горестными размышлениями я неожиданно скоро пришел на Офицерскую, к дому, где жил поэт. Тогда он занимал старую, более обширную квартиру с входом с Офицерской улицы, в том же доме, в котором прожил последние годы жизни.

У самых дверей квартиры мне захотелось повернуться и уйти обратно, но вспомнился Васильев: он ждал меня дома с отчетом. И хотя сейчас я ненавидел его, показаться трусом перед ним мне ни за что не хотелось.

Я решил: с Блоком мне больше все равно не встречаться, а с Васильевым — еще жить и работать.

Надо идти.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

Дверь открыла высокая белокурая женщина. Она с любопытством рассматривала меня умными, улыбающимися, слегка прищуренными глазами.

Позднее я узнал, что это была жена поэта, Любовь Дмитриевна.

Она провела меня в большую комнату, примыкавшую к передней, в кабинет Александра Александровича.

По дороге на Офицерскую я пытался представить себе внешность Александра Блока. Мне была известна лишь одна широко распространенная его фотография 1907 года. Молодой, двадцатисемилетний поэт, с длинными кудрявыми волосами, снят на ней в черной рубахе, с большим белым отложным воротником, какие тогда носили художники.

Какой он сейчас, через одиннадцать лет?..

Был светлый летний петербургский вечер. В просторной комнате было пустовато. В глубине, у окна, стоял небольшой письменный стол и на некотором расстоянии от него — диван. В другом конце кабинета, против входа из передней, в углу стоял другой, небольшой круглый стол, покрытый плюшевой скатертью. Вокруг стола было не-

сколько простых ореховых кресел. У стены, против окон, стоял книжный шкаф.

Такую обстановку можно было встретить в квартире людей со средним достатком.

Не успел я как следует осмотреться, как справа, из другой двери, легкой походкой вышел стройный, красивый человек с немного откинутой назад головой Аполлона.

Он был выше среднего роста, хорошо сложен. Вьющиеся волосы светло-пепельного цвета были коротко подстрижены. Запомнилось еще, что края губ были чуть опущены. На нем был обыкновенный светло-серый костюм.

Человек, которого я увидел, мало чем напоминал известную фотографию поэта. Я не сразу узнал его. Он подошел ко мне, улыбнулся, протянул руку и глуховатым голосом назвал себя.

Заметив мою растерянность, Блок сам заговорил о цели моего прихода.

— Вам нужны мои книги?.. Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе подробнее. Кто вы? Где учились? Где вы служили в армии? (Я был в солдатской одежде.) Что у вас за книжная лавка? Какие из моих книг вам нужны? Жена рассказала про ваш телефонный звонок, и мне захотелось познакомиться с вами. Расскажите о себе подробнее,— повторил он, тепло и дружески улыбаясь.

Я начал рассказ о себе с того, что первые три класса учился во Введенской гимназии, а с четвертого перешел в гимназию Столбцова.

Вдруг Блок остановил меня вопросом:

— Вы учились во Введенской гимназии? Ведь я тоже там учился, я окончил Введенскую. Скажите, каких преподавателей вы там запомнили?

Я назвал несколько фамилий и среди них преподавателя русского языка Ивана Яковлевича Киприяновича и ла-

тиниста, фамилию которого никто из гимназистов не знал, все звали его просто Арноштом; было ли это имя или прозвище, не помню.

Александр Александрович оживился, улыбнулся и сказал:

— Очень интересно. Ведь я тоже учился у Киприяновича и Арноштa очень хорошо помню. Киприянович, должно быть, при вас совсем уже старенький был, при мне уже он был седым. Знаете, я у него по русскому языку никогда больше четверки получить не мог. А у вас какая отметка была по русскому?

И дернуло меня сказать, что у меня была пятерка! Но тут же, спохватившись и поняв всю чудовищную нелепость моей пятерки по русскому рядом с четверкой поэта Блока, я сконфузился и поспешил добавить, что моя пятерка была не за грамоту, а за хороший почерк, который Киприянович высоко ценил. Но этого мне показалось недостаточным и, чтобы укрепить свое объяснение пятерки хорошим почерком, добавил еще, что только благодаря почерку я попал в гимназию, несмотря на процентную норму.

Все это было чистой правдой, но в голове мелькнуло, что со стороны моя настойчивая ссылка на почерк могла показаться неубедительной и даже подозрительной. И вот, чтобы окончательно оправдаться в моей злосчастной пятерке и чтобы подчеркнуть, какое значение в моей жизни имел хороший почерк, я вспомнил, что первый мой заработок я принес домой из газеты «Речь» и что он тоже был связан с моим хорошим почерком. Тут Блок остановил меня.

— Как из газеты «Речь»? Что вы там делали?— изумился он.

Я рассказал, что в «Речи» после подписной кампании в продолжение целого месяца каждый вечер писал адреса

провинциальных подписчиков газеты. Это было, когда я учился во втором классе гимназии. Блок просил рассказать об этом подробнее, и я рассказал, как я попал на эту работу и какова была ее техника.

Блок слушал меня внимательно и продолжал расспрашивать: спросил о родителях, братьях, сестре, а когда и эта тема была исчерпана, он опять, заговорив о Введенской гимназии, вдруг задал вопрос: куда выходили окна моего класса.

Узнав, что классы у нас были разные, Блок рассказал, что в его классе окна выходили на Большой проспект и что в нем однажды произошел случай, прошумевший на всю гимназию. Это было в шестом классе. Как-то на перемене одноклассник Блока, славившийся большой силой и ловкостью, разыгрался со стулом учителя, манипулировал им, подбрасывая и ловя его на лету то за ножку, то за спинку. Товарищи, следившие за этой эквилибристикой, вдруг ахнули, увидев, как стул бесшумно вылетел в открытое окно, не задев, к счастью, ни стекла, ни рамы.

Хорошо, что под окном был небольшой палисадник и стул упал прямо на кусты.

И надо же, как раз в этот момент директор входил с улицы в гимназию и увидел, как летит стул из окна. Класс оставили после уроков. Директор два часа трудился, пытаясь выведать, кто был виновником шалости, но ничего не добился. На следующий день инспектор вызывал каждого гимназиста в отдельности в учительскую, но тоже ничего не узнал.

После этого в четверти всему классу была выставлена отметка за поведение — четверка.

Блок увлекся, вспомнил еще несколько застрявших в памяти историй из гимназической жизни. Потом удачно спародировал латиниста Арношта, который очень смешно коверкал русскую речь.



А. А. Блок в 1906 году. *Рисунок Т. Гиппиус.*



Плакат на слова из поэмы А. Блока «Двенадцать».

И, как бы соревнуясь с Блоком, я тоже пустился в воспоминания детства.

Александр Александрович был старше меня на одиннадцать лет, но эта разница в возрасте и в положении совсем стерлась. Мы делились воспоминаниями, как ровесники, как однокашники, как старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки.

Думаю, что, будь я знаком с Блоком до того много лет, мы не могли бы сблизиться с ним так, как это произошло за несколько часов нашей первой встречи.

Увлекшись беседой со «старым гимназическим товарищем», «старым другом», я забыл все наставления Васильева, забыл, что «Блок—крупнейший поэт нашего времени», забыл, что должен в чем-то извиняться, забыл про все на свете. Рядом со мной сидел друг, товарищ, с которым было легко говорить, и я свободно, как близкому, отвечал на вопросы о службе в армии, о Васильеве, о Жевержееве, о нашей книжной лавке и о том, как она возникла, и даже сам задавал вопросы поэту.

Рассказывая о лавке, о моих поездках в Москву за новинками, я вспомнил о случайной встрече в лавке писателей с Сергеем Есениным, о его укоризненных вопросах о Блоке, о том, что в Москве ничего не известно о петербургских писателях, о том, что книг наших там нет. Рассказал, что был в издательстве «Мусагет» — искал там книги Блока, но ничего не нашел.

Заканчивая рассказ о наших безуспешных поисках книг Блока, я наконец вспомнил, зачем пришел, я сказал, что нам с Васильевым пришло в голову обратиться к поэту с просьбой продать нам остатки авторских экземпляров, если такие имеются у автора. И, не дождавшись ответа, я неожиданно выпалил свое сожаление, что группа символистов распалась. По-моему, заявил я, им следует вновь объединиться.

Александр Александрович слушал меня внимательно, пока я рассказывал о себе, но, когда я высказал свои суждения насчет объединения символистов, он посмотрел на меня с удивлением и спросил:

— Вы думаете?

Этот вопрос еще больше подбодрил меня, и я безудержно понесся развивать свою идею-импровизацию, над которой, признаюсь, до того и не думал.

Продолжая фантазировать, я заговорил о том, что символистам хорошо бы объединиться вокруг своего журнала, организовать свое издательство.

Мои практические предложения вызвали в Блоке еще большее удивление и интерес; он задавал мне всё новые и новые вопросы, желая поглубже проникнуть в мой замысел, добраться до его корней.

Я говорил долго, говорил горячо, будто делился своими заветными мыслями с Васильевым.

Не помню, на чем я остановился, чем исчерпал поток своих «идей».

Впервые я встретил человека, который умел так внимательно, так уважительно, так увлеченно и заинтересованно слушать своего собеседника. Блок слушал так, будто ваш рассказ открывал ему новые увлекательные миры.

Вопрос «вы думаете?» произносился с искренним удивлением. И чтобы подчеркнуть свой интерес к тому, что говорит собеседник, чтобы поощрить его, Блок придвигался к нему поближе и как бы говорил: «Я слушаю вас внимательно, понимаю, сомневаюсь, но все, что вы говорите, необыкновенно интересно, продолжайте, пожалуйста».

Когда я закончил свою импровизацию об объединении символистов, Блок не стал возражать мне, он только мягко выразил сомнение в реальности моих проектов.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.

ДВѢНАДЦАТЬ.

—

СКИѲЫ.

ПРЕДИСЛОВІЕ

ИВАНОВА-РАЗУМНИКА

„ИСПЫТАНІЕ ВЪ ГРОЗѢ И БУРѢ".

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
1918

Обложка к 1-му изданию поэм А. Блока
«Двенадцать» и «Скифы»
(наборная).

...Разговор с Блоком происходил в то время, когда в среде литераторов еще не утихли страсти, вызванные появлением поэмы «Двенадцать».

Я не знал, что от Блока отвернулись многие писатели, среди которых были и его друзья. Не знал, что совсем на днях близкий друг поэта, Владимир Пяст, в каком-то общественном месте отказался пожать протянутую Блоком руку.

Не знал я и того, что Александра Александровича все это глубоко волнует.

И только позднее, когда я услышал об этом от самого Блока, я понял, до чего несвоевременны и несуразны были мои «идеи».

Мой первый визит на Офицерскую затянулся. Я был так взволнован, так увлечен своими речами и так поощрен Блоком, что не заметил, как пролетело время, и опять забыл, зачем пришел.

Прощаясь, Блок сказал, что будет думать о нашем разговоре, просил позвонить ему и непременно зайти еще.

Я уже повернулся, чтобы идти в переднюю, но Александр Александрович остановил меня и напомнил о книгах, за которыми я пришел. Он на минуту вышел и тут же вернулся с аккуратно завязанным пакетом, который, как видно, был приготовлен до моего прихода. Он сказал, что в пакете пять трехтомников стихотворений в издании «Мусагет», что это пока все, что ему удалось найти, но что где-то должны быть еще книги, которые он постарается разыскать к моему следующему приходу.

Надо было заплатить за книги. Вспомнился Васильев со своими рассуждениями. Сколько надо заплатить? Как заплатить? А вдруг денег не хватит? Ведь мы не рассчиты-

вали на такое количество — целых пятнадцать книг! По нашим масштабам это было много. Что делать? Все эти вопросы молнией пронеслись в голове.

Но не успел я закончить свои тревожные размышления, как Блок прервал их и, как бы читая мои мысли, сказал:

— Деньги вы можете принести в другой раз, когда книги продадутся, пусть для меня будут такие же условия, как и для Жевержеева. К тому же у вас будет повод прийти еще раз, и тогда мы подробнее поговорим о ваших планах. И я о них подумаю.

Я все же настоял, чтобы Блок взял деньги, которые я принес с собой, и обещал остальные принести после того, как книги будут проданы.

Трудно передать, что я испытывал, возвращаясь домой!

Я был весел и всю дорогу старался вспомнить, что говорил Блок. Как случилось, что мы оказались старыми друзьями? И какой он внимательный, от него не ускользнули даже мелочи, вроде условий, на которых мы получали книги у Жевержеева. Удивительна была его щедрость, с которой он дарил мне время и внимание. Особенно поразила способность Блока читать чужие мысли: только подумаешь, еще не скажешь, а он уже отвечает.

Дома меня ждал Васильев. Он выслушал мой подробный рассказ и заметил, что он скептически относится к моей «фантастической поэме» (так он назвал мои издательские планы) и что очень рад книгам Блока.

— Вот эти книги—реальность, ты даже не понимаешь, какую редкость, какое сокровище ты принес. Что же касается твоих издательских проектов, они — беспредметная мечта.— И пояснил, что для издательства нужны: во-пер-

вых, деньги на бумагу, во-вторых, деньги за типографские работы, в-третьих, деньги на гонорар, а главное — нужны рукописи, и при этом только хорошие.

Со всем этим трудно было не согласиться: денег у нас вовсе не было.

Васильев был человеком тонкой поэтической души, но он был еще и трезвым человеком.

КАК ВОЗНИКЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛКОНОСТ»



Спустя три дня я позвонил Блоку. На этот раз Александр Александрович сам подошел к телефону. Он сказал, что думал о нашем разговоре, что хочет еще кое о чем расспросить меня, и просил прийти к нему на следующий день вечером.

Когда я во второй раз пришел на Офицерскую, Блок встретил меня дружески, как старого знакомого. Он подробно рассказал, в каком положении находится дело с новым изданием его сочинений; он продал их издательству «Земля». Уже набираются первые два тома стихотворений, а с дальнейшими томами происходит какая-то задержка, но так как он связан договором, то должен ждать.

Перейдя потом к моим планам, Блок выразил сомнение в возможности объединить символистов и сказал:

— Я не знаю, нужно ли их вообще объединять. Разрыв, должно быть, произошел не случайно. И все это гораздо сложнее и глубже, чем кажется.

Блок подробно рассказал о том, как отнеслись к нему товарищи писатели после появления в газете поэмы «Двенадцать».

— Поэма «Двенадцать» создала такую брешь в моих отношениях с большинством писателей, что вряд ли сейчас мыслимо какое-либо объединение.

В рассказе Блока чувствовались досада и горечь по поводу разрыва с друзьями. Видно, нелегко переживал он этот разрыв.

Меня и удивило и тронуло то дружеское доверие, с которым Александр Александрович поведал мне свои грустные мысли. И опять — чувство, будто мы действительно были старыми друзьями, которые увиделись после долгой разлуки.

Я задал вопрос о том, как была написана поэма «Двенадцать», и Александр Александрович охотно рассказал:

— Поэма написалась довольно быстро. Стояли необыкновенно вьюжные дни. Сначала были написаны отдельные строфы, но не в том порядке, в каком они оказались в окончательной редакции.

Блок тут же достал черновую рукопись. Я заметил, что в ней мало зачеркнутых строк, а на полях написаны варианты.

— Слова «Шоколад Миньон жрала» принадлежат Любови Дмитриевне,— сообщил Блок.— У меня было «Юбкой улицу мела», а юбки теперь носят короткие.

На мою просьбу прочитать поэму вслух Александр Александрович сказал, что ни разу вслух «Двенадцать» не читал и прочитать не сумеет. Поэтому читает его жена, Любовь Дмитриевна, она актриса.

— Послушайте ее как-нибудь, интересно, понравится ли вам ее чтение,— добавил Александр Александрович.

В этот вечер я был приглашен в столовую, к чаю.

Небольшая, соседняя с кабинетом комната была меблирована очень скромно: посередине комнаты, под лампой с большим абажуром, стоял прямоугольный стол, а вокруг него несколько венских стульев да вблизи, у стенки,— простенький буфет. Вот и вся обстановка, которую я

Страница из черновой рукописи поэмы А. Блока «Двенадцать».

заметил в столовой. В этом доме, подумал я, как видно, к изысканным вещам склонности нет.

За столом сидели знакомая мне Любовь Дмитриевна и незнакомая маленькая седенькая старушка, которой Блок представил меня; это была Александра Андреевна, мать поэта.

Любовь Дмитриевна сидела за самоваром и разливала чай. Она задала веселый тон общему разговору, который вертелся вначале вокруг всяких городских новостей, всевозможных слухов, носившихся по городу, анекдотов и шуток.

Потом разговор зашел о театре, о постановках Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

Александр Александрович очень высоко ценил дарование Мейерхольда, питал к нему искреннюю симпатию и дружил с ним, но к его ранним работам относился критически. Завязался спор, в котором Любовь Дмитриевна оказалась на моей стороне, что меня очень порадовало. (Позднее я узнал, что Любовь Дмитриевна вместе с актрисами В. П. Веригиной и Н. Н. Волоховой работали в давние времена в театре под руководством Мейерхольда.)

Когда за потухшим самоваром мы остались вдвоем, Александр Александрович снова спросил меня о моих планах. Выслушав меня, он сказал:

— Мне хочется помочь вашим издательским планам, но я не могу нарушить договор с издательством «Земля». Так вот что я придумал. Есть у меня мало кому известная поэма «Соловьиный сад». Она была напечатана только в газете и не вошла в собрание стихотворений. Эта поэма у меня свободна. Может быть, ее можно и стоит издать маленькой книжечкой. Я приготовил ее для вас. Возьмите, почитайте и, если она понравится вам, попробуйте ее издать для начала. Больших затрат это издание не потребует.

Блок передал мне несколько листиков бумаги, на которых аккуратно были наклеены вырезанные из газеты столбцы набора поэмы «Соловьиный сад».

От неожиданности я растерялся и онемел. Пока разговоры касались проектов и планов вообще, я довольно бойко и даже горячо рассуждал, но что я могу сделать практически? Блок предлагает вполне конкретное дело: надо вот эти несколько листиков превратить в книгу. Что делать? Как быть? Что-то надо ответить, а что — не знаю. Быть может, надо сказать спасибо, а может быть, спросить про гонорар или о корректуре, или еще о чем-нибудь.

Откуда я мог знать, что нужно в этом случае говорить или делать?

Замешательство и страдание, должно быть, отразились на моем лице, и Блок опять прочитал мои мысли, мою тревогу и опять поспешил мне на помощь:

— Не надо давать мне сейчас никакого ответа, прочитайте поэму дома, спокойно подумайте, посоветуйтесь с вашим другом Васильевым и решите, стоит ли печатать ее отдельно. К сожалению, у меня ничего другого нет, а мне хочется поддержать вас. Я верю в вас.

Смущенный, взволнованный и тронутый расположением Блока, я отправился домой. По дороге я вспомнил все резонные соображения Васильева о предстоящих трудностях. Но могу ли я обмануть доверие Блока? Нет, я твердо решил, что эту книжечку обязательно издам. Как это будет сделано, я еще не знал.

Меня мучил один вопрос: где я могу прочитать или у кого узнать, как издаются книги?

Я пришел домой поздно. Васильев меня не дождался. Я развернул драгоценные листки и начал читать. Глазами я читал поэму, а в мозгу копошилась одна тревожная мысль: что делать, как быть?

Когда наутро я рассказал обо всем Васильеву и дал ему рукопись, он жадно прочитал поэму и воскликнул:

— Да ведь это замечательный Блок! И как это я прозевал поэму в газете?

Он начал второй раз читать «Соловьиный сад», на этот раз вслух. И тут только до меня дошла поэма — одно из лучших произведений Блока.

Васильев обладал редкой способностью буйно радоваться новому, поразившему его стихотворению. Я переждал, пока он еще два раза вслух перечитал поэму, и спросил его:

— Что же мы будем делать? Надо дать ответ Блоку.

— Что делать? Откуда я знаю? Знаю только, что это блестящая блоковская поэма. Знаю еще, что на издание ее нужны деньги, что в лавке ничего не возьмешь, сам знаешь — и так еле крутимся. Сходи в типографию на Невский против Николаевской, там есть у меня знакомый, попроси его подсчитать, сколько нужно денег. Потом сходишь к Жевержееву — быть может, он заинтересуется. Только об одном прошу тебя: на меня в этом деле не рассчитывай. Я готов помогать тебе, но рисковать не буду. В тебе сидит авантюрист, быть может, тебе и повезет. Действуй сам.

Типографщик взял рукопись и начал ее читать. Не знаю, кем он был в типографии, какую должность занимал, но он оказался поклонником поэзии Блока. Он высоко оценил поэму и сочувственно отнесся к моей затее. Он подсчитал расходы на типографские работы и бумагу и назвал цифру, по моим понятиям значительную. Узнав о моих денежных затруднениях, типографщик сказал:

— Вот что я могу вам предложить: дадим вам на две недели кредит, подождем с оплатой за бумагу и за типо-

графские расходы. Сумеете за этот срок обернуться, продать книги — тогда начинайте.

Я был уверен, что обернусь. И начал.

Трудности обступили меня со всех сторон. Как назвать издательство? Кому заказать марку? Как оформить первую книгу?

Название «Алконост» придумали вместе с Васильевым, художника для марки решили пригласить Юрия Анненкова, нашего товарища по гимназии.

Я отправился в библиотеку Жевержеева и там стал перебирать самые любимые книги, на этот раз не для того, чтобы еще раз ими полюбоваться, но чтобы поучиться чудесному искусству оформления книг.

Через несколько дней я пришел на Офицерскую уже в качестве издателя, принес корректуру и рассказал Блоку начистоту обо всех моих затруднениях. Выбранные типографские украшения, шрифт для набора поэмы, марка издательства — все это получило одобрение Александра Александровича. Теперь со всеми, даже мелкими вопросами, такими, как выбор шрифтов для титула, выбор формата книги, я обращался к Блоку, охотно и внимательно вникавшему в них. Он часами обсуждал со мной все и давал свои советы.

Теперь я бывал на Офицерской очень часто. Отныне предметом наших бесед стали: заголовки, шрифты, линейки, спуски, отступы, поля и пр. Блок научил меня корректорским знакам и старательно знакомил с начатками наборного и печатного дела. Терпеливо, с любопытством и сочувствием смотрел Блок на мои первые неловкие шаги и бережно помогал мне обходить острые и опасные углы.

Это был мой первый университет, вернее, начальная школа издательского дела.

Увлекшись издательскими делами и новыми заботами, я начал манкировать своими обязанностями в лавке и на целую неделю задержал очередную поездку в Москву за книгами. Я чувствовал, что Васильев недоволен, но он молча терпел; он надеялся, как впоследствии признался, что мое увлечение издательством пройдет.

Через две недели три тысячи экземпляров поэмы «Соловьиный сад» были готовы. Я нагрузил мешок книгами, пристроил его за спину, уселся на велосипед и развез тираж «Соловьиного сада» по книжным магазинам Литейного проспекта. А еще неделю спустя я расплатился с типографией.

Наступил щекотливый момент — надо было рассчитаться с автором. Блок долго отказывался от гонорара и наконец назвал ничтожную сумму. После долгих споров мы помирились на том, что чистую прибыль поделим поровну. Сумма получилась небольшая, но этим заработком я долго гордился.

Выпуск первой книги «Алконоста» был отпразднован на Офицерской за чайным столом.

После выхода поэмы «Соловьиный сад» встречи мои с Александром Александровичем стали почти ежедневными. Мы еще больше сблизились, когда начали обсуждать планы новых изданий.

В голове у меня прочно засела мысль: вслед за «Соловьиным садом» издать небольшие книжечки московских



Обложка к поэме А. Блока «Соловьиный сад»
(наборная).

поэтов — Андрея Белого и Вячеслава Иванова, наиболее близких по духу и творчеству Блоку.

В то время я ничего еще не знал о личных отношениях этих поэтов, и моя настойчивость не вызвала в Александре Александровиче подозрений. Но всякий раз, когда я поднимал этот вопрос, я замечал странное замешательство и волнение Блока.

Александр Александрович предупреждал меня, что привлечь Вячеслава Иванова будет очень трудно и вряд ли мне это удастся.

Однако, окрыленный успехом с «Соловьиным садом», я считал, что самое трудное позади и если мне удалось получить рукопись Блока, нашего первого поэта, и в короткий срок издать ее, то от московских поэтов я, конечно, легко получу рукописи.

Я был самонадеян.

Мне показалось, что моя уверенность поколебала Блока: выражая сомнение, он не только не противился моим планам, но я почувствовал, что втайне он был бы рад их осуществлению, потому что для него это означало встречу с друзьями.

Решив ехать в Москву, я просил Блока разрешить мне подарить Белому и Вячеславу Иванову «Соловьиный сад». Блок охотно тут же сделал дружеские надписи на книжечках и, передавая их мне, опять засомневался:

— Не знаю, как встретит вас Вячеслав Иванов. Не знаю, примет ли он этот подарок.

Повторяю, я тогда многого не знал.

Я ничего не знал о бывшей братской близости Блока с Белым, не знал и об их разрыве. Не знал я и о личных отношениях Блока с Вячеславом Ивановым до революции.

И только много позднее я узнал, что Иванов любил Блока — человека и поэта и, приезжая из Москвы в Петербург, с вокзала шел в цветочный магазин, посылал

Александру Александровичу букет цветов, как первый привет.

Блок же рассказал о Вячеславе Иванове перед моим отъездом в Москву только то, что сразу после революции Вячеслав Иванов оказался во враждебном лагере, писал резкие стихи против революции, а после появления в печати поэмы «Двенадцать» порвал отношения с Блоком.

Но все это было в прошлом, и отношение Вячеслава Иванова к революции и к Блоку могло теперь измениться. Я очень этого хотел, и, кроме того, я поверил в свою «звезду». Словом, предупреждения Александра Александровича не остановили меня.

В предыдущие мои поездки в Москву я успевал только обегать книжные магазины на Моховой и Большой Никитской. Нагруженный тяжелыми пакетами, я спешил в тот же день уехать обратно. В Москве я завел знакомство с издательскими и книжными работниками, связанными с современной книгой: с издателем «Альциона» А. М. Кожебаткиным, секретарем «Московского товарищества писателей» А. Н. Чеботаревской, заведующим лавкой писателей Д. С. Айзенштатом и Сергеем Есениным, который в то время постоянно работал в лавке писателей.

Теперь мне предстояло ехать в Москву в качестве издателя и выполнить «миссию» собирателя символистов. Но прежде чем отправиться по издательским делам, я забежал в лавку писателей: мне хотелось повидать там Сергея Есенина и рассказать ему о Блоке, чего не смог сделать при первой встрече. Но Есенина я не застал и ответил на его вопрос лишь несколько месяцев спустя.

ЗНАКОМСТВО С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

Я решил пойти сначала к Андрею Белому. Он жил на Садовой, вблизи Кудринской площади. Вечером квартира Белого показалась мне мрачной, неуютной; чувствовалось отсутствие женской, хозяйской руки.

Андрей Белый встретил меня приветливо, я бы сказал — преувеличенно приветливо, быть может, даже театрально приветливо. Да, и все в Белом показалось мне преувеличенным: голова — преувеличена, жесты — преувеличены, а улыбка — преувеличена до того, что казалась гримасой.

К планам «Алконоста» Белый отнесся с большим вниманием.

Он рассказал, что совсем недавно вернулся из-за границы: был в Швейцарии.

При возвращении на родину ему пришлось преодолеть бесконечные препятствия, прежде чем он смог попасть домой. Белый подробно описал свои скитания и приключения. Больше всего ему, оказывается, досталось в Англии, где его заподозрили в шпионаже, задержали и посадили в тюрьму. Только после бесконечных мытарств ему удалось наконец оттуда вырваться.

Образный рассказ Белого, насыщенный бесчисленными приключениями, я слушал с громадным интересом.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ

СКАЗКИ



„АЛКОНОСТ"

ПЕТЕРБУРГ.

1919

Обложка к книге стихов А. Белого
«Королевна и рыцари».
Художник Н. Купреянов.

Вслед за этим Белый заговорил о происходящих в мире катастрофах, о кризисах: жизни, культуры, мысли — и о многих других отвлеченных вещах.

Я почти ничего не понимал, но темперамент и страсть, которые Белый вкладывал в свою двухчасовую речь, музыкальный ритм этой речи держали меня в необыкновенном напряжении. Это был какой-то бешеный шквал, который обрушился на меня. Напрягая все свои душевные и умственные силы, я пытался следить за мыслью Белого.

Возбужденный, с воспаленными, сверкающими глазами, Белый стремительно бегал из угла в угол, стараясь в чем-то меня убедить. Длинные волосы на его голове развевались как пламя. Казалось, что вот-вот он весь вспыхнет — и все кризисы и мировые катастрофы разразятся немедленно и обломки их похоронят нас обоих навеки.

Голова ходила кругом, хотелось скорее на воздух. Не знаю, что могло бы со мною случиться. Я не выдержал и поднялся.

Белый остановился, посмотрел на меня внимательно и, заметив, должно быть, мое угнетенное состояние, сказал совсем просто:

— Вы, верно, устали с дороги, а я вас заговорил, обрадовался новому человеку. Вы уж извините меня.

— Нет, что вы,— соврал я, собираясь поскорее уйти,— мне было очень интересно вас слушать, особенно ваш рассказ о возвращении из Швейцарии домой, и когда вы напишете об этом книгу, ее нужно издать в «Алконосте», и обо всех кризисах нужно написать книгу или ряд книг для «Алконоста». Но пока эти книги еще не написаны, хотелось бы напечатать опубликованную в газете вашу поэму. Она небольшая, и я думаю, что мы сумеем ее скоро напечатать.

Белый согласился и просил только зайти за поэмой завтра, он хочет ее прежде просмотреть, не надо ли что поправить.

Выйдя от Белого, я долго ходил по улицам с распухшей головой, стараясь переварить все, что услышал.

Оправившись от первого впечатления и подводя деловые итоги визита к Белому, я пришел к заключению, что дело издателя, оказывается, трудное дело.

Но оно все же подвигается.

С Андреем Белым мы скоро подружились, и, часто встречаясь с ним впоследствии, я научился воспринимать его мысли через музыкальный ритм его речи, через художественные жесты и мимику.

Впереди был трудный визит — к Вячеславу Иванову. О нем с такой тревогой предупреждал меня Блок.

ЗНАКОМСТВО С ВЯЧЕСЛАВОМ ИВАНОВЫМ

На следующий день, собравшись с духом, я направился к Вячеславу Иванову. Он жил на Зубовской площади.

Прежде чем подняться на лестницу, я призвал все свое мужество, внутренне собрался и был готов встретить любой прием.

Дверь мне открыл пожилой человек с длинными седыми волосами, в очках, с необыкновенно острыми глазами. На слегка сгорбившиеся плечи был накинут какой-то черный плащ или крылатка. Весь его облик напоминал птицу.

Пока я представлялся Вячеславу Иванову в передней, он был спокоен и любезен. Но как только я сказал, что привез ему привет и книжечку от Александра Блока, глаза Иванова сверкнули и резко кольнули меня. Он переспросил, от кого привет, будто не расслышал, провел меня в небольшую комнату, предложил сесть, а сам стал медленно и внимательно рассматривать «Соловьиный сад»; должно быть, несколько раз прочел дарственную надпись Блока и, как мне показалось, долго молчал. Я был подготовлен Блоком к тому, что наша встреча может оказаться резкой и враждебной.

Помолчав, Вячеслав Иванов начал расспрашивать меня о Блоке, при этом он явно волновался. Видно было, что мой визит и привет от Блока вывели Иванова из равнове-

сия, а его затянувшуюся задумчивость я объяснил нахлынувшими воспоминаниями. Когда он успокоился, то начал спрашивать меня, кто я и может ли он быть мне чем-нибудь полезен.

Я объяснил, что я издатель «Соловьиного сада» и что мне хотелось бы получить для издательства стихи или прозу Вячеслава Иванова.

И опять острый взгляд кольнул меня. Он неожиданно спросил:

— Скажите, а почему «Алконост» вы печатаете с мягким знаком?

Что мог я ответить? Шут его знает почему. Я никогда не думал над этим вопросом; вероятно, где-нибудь так было напечатано, пытался я вспомнить. Но я молчал.

Вячеслав Иванов пришел мне на помощь: он объяснил, что мягкий знак в этом слове употреблять не следует, что слово это имеет такое-то происхождение (а какое — не помню), и рассказал несколько легенд о вещей птице Алконост. С раскрытым ртом я как зачарованный слушал эти интереснейшие легенды.

Я приготовился уже извиниться, но Иванов, не дав мне произнести слова, вдруг резко спросил, а знаю ли я, кто он, и зачем я к нему пришел. Я опять рассказал, зачем пришел к нему, и стал заверять, что знаю его стихи и статьи, и назвал несколько его книг.

И снова две стрелы вонзились в меня:

— Вы приехали окрашивать меня в красный цвет?

Этот вопрос как обухом по голове ударил меня, я даже не сразу понял его.

Придя в себя и стараясь быть спокойным, я стал излагать свою «идею» — объединить символистов. Но Вячеслав Иванов смотрел на меня с недоверием. Ему, должно быть, казалось, что я хитрю, что в действительности я посланец дьявола, пришедший соблазнять его.

И тут начался допрос с пристрастием: он выпытывал мои политические убеждения, интересовался моим духовным содержанием и забрасывал меня такими вопросами, над которыми мне пришлось бы долго думать, прежде чем ответить. Я молчал, а он продолжал спрашивать и удивлялся моему молчанию. Когда я наконец начинал что-то робко лепетать, он перебивал меня новыми и новыми вопросами.

Все мои потуги ответить, отбиться ни к чему не привели.

Я начал горячиться. Наш спор продолжался долго. Вячеслав Иванов язвил, издевался, возмущался, и все это он проделывал с улыбкой, с какой-то презрительной мягкостью и снисходительностью.

Это было настоящей инквизицией.

Вдруг он прервал себя и заявил:

— Хорошо, я подвергну вас испытанию. Напечатайте «Песни смутного времени» — это мои последние стихи.

Не имея понятия об этих стихах, я не задумываясь ответил:

— Хорошо.

Вячеслав Иванов стал вдруг добрее и мягче. Он попросил меня зайти за стихами на следующий день.

Уйдя от него, я испытывал страшную опустошенность и упадок сил, так он меня измотал. Эту ночь я спал как убитый или как человек, перенесший тяжелую болезнь.

На следующий день я снова шел к Вячеславу Иванову и думал, какие разные люди — Блок, Белый и Иванов. И этих-то людей я вздумал объединять!

Вспомнились слова Блока:

«Для меня еще большой вопрос, нужно ли нас объединять».

Александр Блок

Седое Утро

Стихотворения

«Алконост»

Обложка к книге стихотворений А. Блока «Седое утро».
Художник А. Лео.

Действительно, нужно ли? — засомневался и я.

Но я не хотел отступать и все-таки шел. Я ждал, что начнется новая, невыносимая пытка.

Накануне вечером я успел прочитать «Песни смутного времени». Мне достали кадетский журнал «Народоправство», где эти стихи были напечатаны.

Злые, контрреволюционные стихи. Печатать их было невозможно даже при самом аполитичном отношении к искусству.

Я шел отказываться от них.

Я знал, что этот визит к Вячеславу Иванову окончится для меня плохо, но меня утешала одна мысль: что хоть один миг я поторжествую над ним и отомщу за вчерашнее.

Я ненавидел его.

Вячеслав Иванов встретил меня ласково, пригласил в кабинет и стал рассказывать, что жена его больна и что он советовался с ней по поводу моего вчерашнего визита и нашего разговора. Они (он и его жена) решили, что у постели больного не следует говорить о его болезни (больной, по их мнению,— это Россия, а болезнь — это революция) и что поэтому он не даст мне «Песни смутного времени». Он готов поверить в чистоту моих намерений. Он не против сотрудничества с Блоком — «художником, перед которым снимает шляпу». О своем же отношении к «Двенадцати» он когда-нибудь мне расскажет. А сейчас он предлагает «Алконосту» свою поэму «Младенчество».

Таким оборотом дела я был потрясен. Со мной разговаривал совсем другой человек. Желая, должно быть, сгладить впечатление вчерашнего дня, Вячеслав Иванов расхваливал «Соловьиный сад» и, что особенно мне было приятно, одобрил удачный формат, шрифт и оформление книжечки. И, угостив чаем, отпустил меня с рукописью.

Итак, моя миссия хоть и с трудом, но выполнена.

Я еду обратно в Петербург и везу с собой две поэмы: Андрея Белого и Вячеслава Иванова, две новые книжечки.

Думаю, что Блок будет доволен и порадуется за меня.

Приехав с вокзала домой, я немедленно позвонил Блоку. Мой телефонный отчет длился больше часа. Прощаясь, Александр Александрович взял с меня слово, что вечером я непременно приду и расскажу ему все подробно.

Послушать меня Блок пригласил Любовь Дмитриевну.

Мой рассказ о посещении Белого часто прерывался взрывом смеха. Блок объяснил, что, слушая меня, они ясно представили себе Белого, которого давно не видели. Рассказ о свидании с Вячеславом Ивановым вызвал еще больший интерес. Блок заставил меня вспомнить абсолютно все слова, которые говорил Вячеслав Иванов.

Я понял, что результатом моей московской поездки Блок был заинтересован не меньше меня.

Александр Александрович поздравил меня с успехом, сказал, что верит в «Алконост» и будет всемерно помогать ему во всех начинаниях.

Первый успех окрылил нас, и мы с Блоком стали думать о более широкой издательской деятельности. Встал вопрос о выпуске журнала «Алконоста», об издании поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями и других книг.

В ТЕАТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ НАРКОМПРОСА



Трудно перечислить все государственные и общественные организации, коллегии, комитеты и комиссии по вопросам культуры, в работе которых принимал участие Александр Александрович Блок.

С первых дней революции и до последних дней жизни Блок отдавал все свое время творческой и общественной работе.

Весь шестой том, дневники и записные книжки последнего собрания сочинений Александра Блока — свидетельство и творческий отчет об этой работе самого поэта.

Мне посчастливилось работать рядом с Александром Александровичем в Издательском бюро Театрального отдела Наркомпроса, и об этом пойдет мой рассказ.

С первого дня знакомства с Блоком я знал, что почти все дневные часы Александр Александрович проводит в Театральном отделе. Там он иногда назначал свидания и мне. Блок был членом коллегии Театрального отдела и председателем Репертуарной секции.

Репертуарная секция занималась отбором лучших пьес мирового театра от времен глубокой древности до совре-

менных и готовила их к печати для театров страны и для чтения. Предполагалось, что к пьесам будут даваться вступительные статьи и режиссерские указания о том, как поставить пьесу в условиях скромных возможностей и небольших средств.

Найти старые пьесы в книжных магазинах было трудно, их почти не было. Пьесы приходилось искать на развалах у букинистов и в антикварных книжных магазинах.

Блок сам ходил на книжные склады издательств Вольфа и Карбасникова, в театральные агентства и часами занимался поисками старых, редких изданий пьес.

Месяца через два после нашего знакомства Александр Александрович среди разговора вдруг предложил мне взять на себя заведование Издательским бюро Театрального отдела Наркомпроса.

Предложение было так неожиданно и так удивительно, что я растерялся, не нашелся что сказать, потом мелькнуло: уж не шутит ли Блок? Попробовал ответить шуткой. Но Александр Александрович стал уверять меня, что предложение сделано всерьез и что он уже говорил обо мне с Мейерхольдом, заместителем заведующего Театральным отделом, и что тот поддерживает это предложение.

Блок подробно рассказал о работе Репертуарной секции и об ученых и литераторах, работающих с ним. Рассказал о репертуаре провинциальных театров и о том, как важно быстро издать для них хорошие и разные пьесы.

— Я хорошо знаю, какими пьесами питают народ небольшие, да и большие провинциальные театры. Дельцы из театрального агентства Рассохина и другие агентства печатают и до сих пор снабжают все провинциальные театры глупыми и пошлыми пьесами. Делают эти пьесы обычно люди малограмотные, но знающие театр, ловкие

люди. Необходимо как можно скорее вытеснить эту макулатуру, эту отраву. А сделать это можно будет только тогда, когда взамен мы сможем выпустить хорошие пьесы большим тиражом. Это очень важное дело,— закончил Блок.

Я ответил, что для такого большого дела нужен человек с большим опытом и знаниями.

— А мой опыт вам хорошо известен — ему буквально «без года неделя».

В ответ я услышал примерно такие слова:

— Опыт не поможет нашему делу. Мы делаем такое дело, у которого опыта еще нет, его надо заново создавать. А чтобы его создавать, нужна полная и глубокая уверенность, что дело это очень важное и крайне необходимое, и еще нужна настойчивость и огромная энергия, а этого у вас хватит.

Дальше последовал неожиданный полет фантазии поэта, который мог показаться максималистским призывом.

— Все нужно добывать революционным путем. Может быть, надо взять отряд красногвардейцев, объяснить ему цель необходимого для государства похода, поехать вместе с ним на бумажную фабрику — конфисковать всю бумагу, которая найдется на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же красногвардейцев. С другим отрядом — занять типографию. Вероятно, только так надо действовать. А для таких действий опытных людей еще нет. Возьмитесь,— закончил Александр Александрович,— а я буду вам помогать.

Я слушал необычную для Блока взволнованную речь как завороженный, а его последние слова тронули меня.

Вновь победила во мне склонность к авантюризму, которую Блок почему-то называл американизмом,— я не смог отказаться от его предложения.

...Театральный отдел Наркомпроса разместился во дворце бывшего великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной Невы, одного из красивейших мест Петербурга.

Я долго бродил по безлюдным дворцовым залам в поисках приемной Мейерхольда, где мы условились встретиться с Блоком.

В одном из залов я не удержался — подошел к большому зеркальному окну и залюбовался Невой, Петропавловской крепостью, Биржей, как делал всегда, когда бывал в Эрмитаже.

— Любуетесь Невой? — услышал я за спиной голос Блока.— Я тоже люблю постоять у этих окон, но нас ждет Всеволод Эмильевич, пойдемте.

Блок представил меня Мейерхольду, который сказал, что давно обо мне слышал от Александра Александровича, что он рад со мной поработать, пожелал успехов и тут же вырвал из блокнота листик бумаги, написал на нем приказ о принятии меня на работу и отдал его мне для передачи управляющему делами. Потом Блок пошел знакомить меня с двумя членами Издательского бюро и по дороге рассказал о них: А. К. Голубев — пожилой человек, раньше был не то директором, не то председателем правления Госбанка, точно он не знает, а другой — Н. Э. Радлов, сын философа, сам художник-сатириконовец. Последнего я немного знал раньше.

Неожиданная деловитость Мейерхольда, странная рекомендация моих будущих товарищей, роскошные стены дворца — все это, вместе взятое, почему-то крайне смутило меня, и я уже пожалел, что вчера так легкомысленно поддался обаянию поэта и согласился на эту авантюру. Но возврата не было.

В Издательском бюро мои будущие товарищи ждали меня. Прием вначале показался мне несколько официальным.

А. К. Голубев, солидный, почтенного возраста человек, дружелюбно улыбался и, мне показалось, оценивал мою фигуру опытным глазом. Приветлив был и Н. Э. Радлов, худощавый молодой человек высокого роста. Он выделялся непривычной по тому времени элегантностью в костюме и манерах. Я почувствовал себя неловко в этих роскошных дворцовых залах: моя давно не новая солдатская гимнастерка и высокие нечищеные сапоги совсем не гармонировали ни с этой роскошью, ни с изысканно строгими костюмами моих товарищей. Впрочем, и товарищами я стеснялся их называть — уж очень не шло к ним такое обращение.

Пока меня знакомили с портфелем Издательского бюро, Блок был рядом и принимал участие в разговоре. Он, должно быть, понял мою неловкость и своим присутствием решил подбодрить меня.

Этот добрый жест и чуткость Александра Александровича поддержали меня.

Голубев и Радлов оказались отличными работниками, и, если бы не они, я провалился бы на первых шагах работы.

В списках рукописей Издательского бюро я обнаружил большое количество пьес нескольких серий: «Русский театр», «Иностранный театр», «Детский театр» — то были пьесы разных времен и народов. Но, помимо пьес, в издательском плане было несколько сборников Историко-театральной секции, сборники «Игра», «Временник», серия «Биографические очерки драматических писателей», сборники «Записки Института живого слова». Из всего этого обилия книг только несколько были на печатных машинах, остальные были в разных стадиях производства.



А. А. Кублицкая-Пиоттух, мать поэта. *1919.*



В. Э. Мейерхольд и А. Я. Головин. *1920.*



Портрет В. Э. Мейерхольда работы А. Я. Головина. *Темпера. 1920.*



Эскиз обложки сборника «Седое утро». *Рисунок А. А. Блока.*

Это обеспокоило меня, и, когда вечером, на Офицерской, я делился своими первыми тревожными впечатлениями, Блок успокаивал меня и рассказал о некоторых известных ему перспективах.

На следующий день я стряхнул с себя охватившие меня накануне сомнения и трусость и нахально приступил к работе. Поехал в типографию, и дело далеко не сразу завертелось. Блок, как обещал, помогал мне советом, а иногда ездил со мной в типографию. Кстати, беседы Блока в типографии всегда приносили реальную помощь.

Через несколько месяцев, к концу 1918 года, мы выпустили около трех десятков пьес. Правда, все они были напечатаны на плохой газетной бумаге и далеко не массовым тиражом, но спрос на пьесы, хоть в малой мере, был удовлетворен.

Первые дни работа в Издательском бюро отнимала у меня много времени, пришлось манкировать делами «Алконоста».

Пока пьесы не выходили из печати, деятельность нашего Издательского бюро мало кого интересовала. Один Блок, когда бывал в Театральном отделе, непременно заходил к нам, он знал все обо всех находящихся в производстве пьесах. Такое внимание и заинтересованность и нас заражали и влияли на наши усилия. Мы старались выпустить как можно больше пьес.

Когда выпуск пьес заметно увеличился, на нашу работу обратили внимание представители теоретической, исторической и других секций, и тогда обнаружилось, что их сборники месяцами лежат без движения. Пошли вопросы, потом жалобы. Меня вызвал Мейерхольд, я объяснялся, обещал ускорить печатание сборников. Но не все делается вдруг. Нетерпение и недовольство Издательским бюро росло. О разговоре с Мейерхольдом я рассказал Блоку в тот же вечер. Оказалось, что он раньше меня знал

о недовольстве и о жалобах. Он успокаивал меня, просил не придавать жалобам значения и посоветовал снять несколько пьес и запустить в машины два-три сборника. Обещал сам поговорить с Мейерхольдом и заинтересованными секциями. Он сказал:

— Теперь, когда мы начали понемногу утолять голод на пьесы, быть может, надо выпустить два-три сборника, хотя, откровенно говоря, театры могли бы прожить еще несколько месяцев и без них.

Позднее Вл. Н. Соловьев, член репертуарной секции, рассказывал мне, что Блоку пришлось в это время несколько раз тушить назревавшие конфликты и на какое-то время это ему удавалось.

Тем временем жалобы дошли до Москвы. Заведующая Театральным отделом О. Д. Каменева предложила Мейерхольду назначить заседание коллегии Театрального отдела и на нем поставить вопрос о деятельности Издательского бюро. Узнав об этом, я спросил Блока, не лучше ли мне самому подать заявление и уйти, чем дожидаться, пока меня уволят.

— Ни в коем случае,— ответил Блок,— Репертуарная секция и я сам будем на коллегии отвечать за деятельность Издательского бюро.

Я не стал бы описывать так подробно этот малозначительный конфликт, который мог случиться в любом учреждении и с любым человеком, если б не одно важное обстоятельство.

К заседанию коллегии Театрального отдела Александром Блоком был написан и прочитан на заседании доклад, в котором он, пользуясь этим незначительным конфликтом, поднял вопросы, имеющие большое принципиальное и общественное значение.

...«Доклад в коллегию Театрального отдела» напечатан под этим названием в шестом томе последнего собрания сочинений Александра Блока (изд. 1962 года).

Меня никто не уволил, и я работал до ликвидации петербургского отделения Театрального отдела. А Александр Александрович перешел в конце апреля 1919 года в Большой драматический театр, он был назначен председателем режиссерского управления, или, как теперь называют, заведующим художественной частью театра.

ИЗДАНИЕ ПОЭМЫ «ДВЕНАДЦАТЬ» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Первые издательские успехи «Алконоста» вскружили мне голову; я решил, что настало время после небольших книжечек приняться за издание более сложных книг.

Первой такой книгой мне хотелось выпустить поэму Блока «Двенадцать» с иллюстрациями.

К этому времени мои представления о современных иллюстрированных изданиях были очень скромны. Весь мой опыт в этой области ограничивался знакомством с русскими иллюстрированными изданиями XVIII и первой половины XIX века в библиотеке Л. И. Жевержеева. Я очень любил эти издания, восторгаюсь ими и сейчас, но иллюстрации далекого прошлого не могли служить примером для произведения современного, написанного в новой, очень сложной художественной форме.

Чем больше я вчитывался в текст поэмы, тем сложнее казалась мне задача иллюстрирования ее. Только жанровые сцены в поэме могли бы быть благодарным материалом для иллюстрирования, но ведь сцены эти сами служат иллюстрациями в поэме. А вот как передать поэтический и музыкальный строй «Двенадцати»? Как быть с Христом — образом отвлеченным, туманным, непонятным?

За разрешением всех моих сомнений и вопросов следовало, быть может, обратиться прямо к автору, но автора

я еще стеснялся, а кроме того, я не считал возможным являться к Блоку с «пустыми» руками, хотелось самому продумать и предложить свой план издания.

Как-то июльским вечером я пришел на Офицерскую к Блоку. Открывая дверь, Александр Александрович спросил меня:

— Не хотите ли пойти со мной в «Привал комедиантов»? Там сегодня Любовь Дмитриевна читает «Двенадцать».

Я, конечно, захотел. Захотел по разным причинам. Во-первых, я никогда не бывал в «Привале комедиантов», попасть туда мне давно хотелось; во-вторых, я никогда не слышал, как Любовь Дмитриевна читает Блока, и мне почудилось, что ее чтение «Двенадцати» обогатит меня зрительными образами, и, наконец, приглашение пришлось мне по душе еще и потому, что я надеялся: в эту длинную прогулку по городу мне удастся заговорить с Александром Александровичем о моем намерении издать «Двенадцать».

Дорога с Офицерской до «Привала комедиантов» на Марсовом поле была долгая. Мы шли не спеша и успели обсудить все события дня, как делали это каждый вечер за чайным столом у Блока.

Когда дорога подходила к концу, я задал Блоку вопрос, нравится ли ему самому, как читает поэму «Двенадцать» Любовь Дмитриевна.

Блок ответил так:

— Мне трудно судить. Могу только сказать, что мне довелось слушать чтение Любови Дмитриевны несколько раз, в разных аудиториях, и мне показалось, что поэма доходит до слушателей. Интересно,— добавил он,— дойдет

ли это чтение до вас. Я предупредил Любовь Дмитриевну, что приглашу вас сегодня послушать ее.

Так незаметно, за разговором мы, как мне показалось, очень скоро пришли на Марсово поле.

Об издании «Двенадцати» я так ничего Блоку и не сказал — не хватило дороги.

«Привал комедиантов»

«Привал комедиантов» был клубом передовых деятелей литературы и искусств. Для широкой публики вход туда был закрыт, а попасть в клуб можно было только по рекомендации лиц, известных руководителям «Привала». Впрочем, широкая публика и не знала о существовании этого клуба.

Вдоль всего Марсова поля растянулась длинная шеренга ампирных зданий; она начинается с Миллионной улицы зданием бывших Павловских казарм и замыкается закругленным домом на углу реки Мойки. В подвале этого старинного углового здания и помещался «Привал комедиантов».

Раньше это помещение было обыкновенным подвалом, разгороженным редкими досками; в таких подвальных клетушках квартиранты доходных домов хранили свои дрова. Чтобы переоборудовать дровяной подвал в изысканный клуб деятелей искусств, потребовалось немало изобретательности, вкуса и труда художников, архитекторов, строителей и других мастеров своего дела. Замечательные художники-декораторы С. Ю. Судейкин и Борис Григорьев расписали стены и сводчатые потолки «Привала» с изумительным мастерством и блеском.

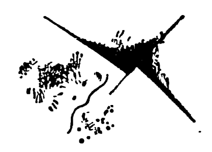
Обстановка «Привала комедиантов» была очень скромной, даже строгой: кресел и стульев там не было, вместо

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

ДВѢНАДЦАТЬ

рисунки

Ю. АННЕНКОВА



•АЛКОНОСТЪ•
ПЕТЕРБУРГЪ
1918

Обложка к поэме А. Блока «Двенадцать».
Художник Ю. Анненков.

них стояли простые деревянные скамьи, обтянутые крашеным холстом. Крохотный помост, прижатый к стене, служил местом для выступлений; там стоял рояль, а возле него табурет. Рядом с зрительным залом примостилась небольшая буфетная стойка и несколько маленьких столиков. Полумрак мягко гармонировал с настенной живописью и своеобразным характером всего помещения. В небольшом зрительном зале могло поместиться, вероятно, не больше пятидесяти человек.

В «Привале комедиантов» не существовало заранее подготовленных программ вечеров; обычно все выступления там носили характер экспромтов. То известный инструменталист или певец исполнял здесь новое музыкальное произведение, то актер показывал фрагмент своей новой роли. В «Привале» можно было услышать последние стихи поэтов Маяковского, Блока, Хлебникова, Ахматовой, Есенина, Кузмина и Мандельштама. Бывало, что сами авторы читали свои произведения. Часто после чтения возникали горячие дискуссии.

Так было в «Привале» и с поэмой Александра Блока «Двенадцать», вызвавшей шумную реакцию посетителей первых двух выступлений Любови Дмитриевны.

Напечатанная впервые в газете в феврале 1918 года, поэма «Двенадцать» вызвала бурные разноречивые отклики. О «Двенадцати» говорили и спорили везде: среди интеллигенции и передовых рабочих, в партийных кругах и в беспартийных.

С особенной страстью обсуждало поэму студенчество. Взрывом негодования встретили ее большинство писателей. Даже близкие друзья поэта осудили «Двенадцать» и отвернулись от Блока.

К моменту моего рассказа прошло около пяти месяцев со дня появления поэмы в печати, а интерес к ней продолжал расти, и только этим необычным интересом можно

было объяснить то, что руководство «Привала комедиантов», нарушая все свои традиции вечеров-экспромтов, пригласило Любовь Дмитриевну выступить с чтением «Двенадцати» в третий раз.

Жизнь в «Привале комедиантов» начиналась поздно, часов в одиннадцать. До двенадцати публика собиралась вяло, оживление же наступало обычно после полуночи, когда в театрах кончались спектакли.

Не знаю, бывал ли Александр Александрович в «Привале» раньше, и если он там и бывал, то, должно быть, редко. При входе его никто не узнал. Дежурный член клуба обратился к нам с просьбой назвать свои фамилии, а услышав фамилию Блока, растерялся, засуетился, пригласил нас войти, а сам быстро бросился вперед, желая, должно быть, кого-то предупредить.

Очень скоро навстречу нам торопливо выбежал крайне взволнованный моложавый человек актерской внешности. Еще издали он начал приветствовать Блока возгласами и жестами, выражая свою радость гостю.

Это был Борис Пронин. Бывший актер, он на этот раз встречал нас как директор «Привала комедиантов». Он принадлежал к актерам старой школы, актерам пышных и повышенных интонаций и жестов на сцене. И в жизни он сохранил эту внешнюю театральность, хотя был человеком очень простым и сердечным. Всегда открытый, веселый, доброжелательный и шумный, он пользовался всеобщей любовью.

Пронин был потрясен и вместе с тем рад неожиданному гостю. Он обрушил на Александра Александровича поток возгласов: «это великолепно», «это просто замечательно», «потрясающе», «необыкновенно», «как я рад», «как я счастлив», «милый Александр Александрович, если бы вы знали, какой подарок вы сделали нам...» Видно было, что ему не хватает слов, чтобы выразить свои чувства.

— Здравствуйте, — спокойно улыбаясь, прервал его Блок.— Позвольте представить вам...— он назвал меня.— Мы пришли к вам послушать Любовь Дмитриевну. Вы позволите?

Тут Пронин бросился ко мне и, будто сто лет знаком со мною, обнял меня за талию и наговорил мне кучу любезностей, которых не успел досказать Блоку.

— Какой сегодня праздник в «Привале», какой замечательный сюрприз, что вы пришли к нам вместе с Александром Александровичем! — И дальше следовал поток восторженных слов.

Александр Александрович тем временем отошел в сторону и оттуда сочувственно и озорно улыбался мне. Пронин вдруг что-то вспомнил, схватил под руку Блока, а потом и меня и уволок нас в какую-то каморку, которую назвал своим кабинетом, налил три стакана вина и произнес пышный, взволнованный тост в честь Блока и меня, и так как в волнении он забыл мое имя или просто не расслышал его, то именовал меня «наш высокий гость» — и так несколько раз.

Блоку понравилось это выражение, он запомнил его, и на следующий день, открывая мне дверь у себя на Офицерской, он торжественно и громко провозгласил:

«Пожаловал наш высокий гость».

Тосты Пронина прервала пришедшая Любовь Дмитриевна; она просила директора выпустить ее поскорее на эстраду.

Было одиннадцать часов, гостей было еще очень мало. Пронин долго уговаривал Любовь Дмитриевну, а потом эффектно, по-театральному, упал на колени и стал молить:

— Душечка, Любовь Дмитриевна, не губите, побудьте с нами, подождите немного! Вот скоро соберется публика, вы первая выступите, и мы сразу вас отпустим. Умоляю,



Рисунок к поэме А. Блока «Двенадцать».
Художник Ю. Анненков.

ну хоть полчасика! У нас сегодня такой праздник, такой день!

Но Любовь Дмитриевна наотрез отказалась ждать: она объяснила, что куда-то очень спешит.

В зрительном зале Александр Александрович и я встали у задней стены, чтобы лучше видеть реакцию зрителей на чтение поэмы, но в зале, кроме нескольких унылых фигур, сидевших впереди, никого еще не было.

Не стану здесь подробно рассказывать о том, как Любовь Дмитриевна читала «Двенадцать». Скажу только, что поэму она исполнила так хорошо, как мне впоследствии не пришлось услышать ни у одного прославленного артиста.

Любовь Дмитриевна — профессиональная актриса, поэтому и исполнение было актерским; она использовала весь арсенал приемов, средств и красок актерского мастерства. Исполнение было острым и интересным; особенно пленило меня сочетание низкого красивого голоса актрисы с грубоватыми интонациями героев поэмы, в которых слышались то народная частушка, то протяжная народная песня. Главные и второстепенные герои поэмы были показаны Любовью Дмитриевной выпукло и искусно.

А Христос так и остался отвлеченным, туманным и непонятным.

Исполнительница стремилась показать и сложный, многообразный музыкальный ритм поэмы, и в этом она достигла бесспорного успеха. Исполнение было яркое и интересное.

В доме Блоков на Офицерской долго не ослабевал интерес к отзывам и высказываниям о «Двенадцати». Мать поэта Александра Андреевна, Любовь Дмитриевна и

в особенности сам поэт с жадным интересом ловили каждое новое мнение, каждое новое слово о поэме.

Однажды я принес с улицы рассказ о том, как на Невском проспекте человек, шедший сзади меня, читал кому-то вслух отрывок из «Двенадцати». Интерес Блоков к этому эпизоду был поразителен; меня забросали вопросами: какой отрывок читал прохожий? Какого он был возраста? Как он был одет? И кем он мог быть по профессии?

Когда на следующий день после похода в «Привал комедиантов» я делился на Офицерской своими впечатлениями, Блоки прерывали мой рассказ бесконечными вопросами. В основном это были вопросы Любови Дмитриевны, которая проверяла на мне отдельные части поэмы. В своих ответах я не мог скрыть, что образ Христа и в исполнении Любови Дмитриевны остался туманным. При этих словах я заметил, как Александр Александрович, улыбаясь, переглянулся с женой, и мне захотелось узнать, чем были вызваны улыбки. Блок объяснил, что мнение о туманном образе Христа ему часто приходилось слышать.

В этот вечер — как-то само собою вышло — я рассказал о своем намерении издать поэму «Двенадцать» с иллюстрациями, рассказал и о своих сомнениях.

— А какого художника думаете вы привлечь к этой работе?

Узнав о том, что я думал о художнике Анненкове, Блок спросил:

— Это тот Анненков, ваш гимназический товарищ, который сделал марку «Алконоста»? — И, помолчав немного, добавил: — Вы думаете, он подходит для этой работы?

Я откровенно признался, что других художников не знаю. Однако, чтобы успокоить Блока, я предложил сделать на пробу несколько эскизов и в зависимости от качества этих эскизов будем решать, поручить ли иллюстрации Анненкову или искать другого художника.

Блок улыбнулся. Мне показалось, что он подумал: «Странный человек этот Алянский — знает одного-единственного художника, и этого знает только потому, что учился с ним в гимназии, и только на этом основании он готов поручить ему иллюстрации к «Двенадцати».

— Ну что ж, попробуем,— сказал Александр Александрович.

Предлагая Александру Александровичу поручить иллюстрации к «Двенадцати» Анненкову, я, конечно, рисковал, потому что из многих бесед с Блоком знал, что он отнюдь не является поклонником крайних левых направлений в искусстве.

Первые эскизы Анненкова меня озадачили. Передо мною лежали непонятные кубистические знаки. Художник по моему лицу понял, что его эскизы разочаровали меня, и, когда я прямо об этом ему сказал и добавил, что не могу их показать Блоку, он попросил дать ему еще время, чтобы подумать и еще поработать.

Примерно к середине августа новые эскизы были доведены до такого состояния, что я решился показать их Блоку. Не скрою, я очень волновался, направляясь с эскизами к поэту: я почему-то думал, что он предубежден против Анненкова, не верит в него и обязательно забракует его работу.

Вопреки моему предчувствию, Александр Александрович с интересом рассматривал рисунки. Сразу ему понравились два рисунка: «убитая Катька» и «пес» (к словам поэмы: «только нищий пес голодный ковыляет позади...»).

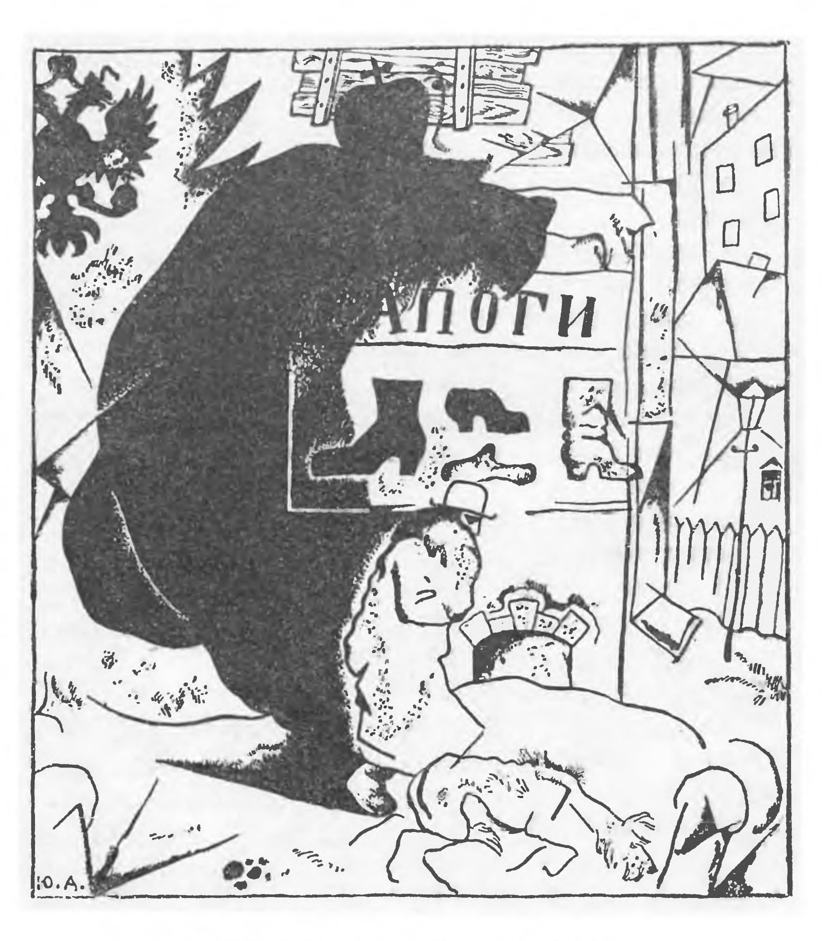


Рисунок к поэме А. Блока «Двенадцать».
Художник Ю. Анненков.

— Это очень хорошо! — воскликнул Александр Александрович.

Он заметно повеселел, несколько раз возвращался к достоинствам отмеченных рисунков и, удовлетворенный, показывал их матери и жене и, заметив, должно быть, мое волнение, поспешил успокоить:

— Вот видите, и маме, и Любови Дмитриевне рисунки нравятся.

И этой похвале я так был рад, будто сам сделал эти рисунки.

Дольше других Блок рассматривал последний страничный рисунок, на котором был изображен Христос.

Я знал, что этот рисунок долго не давался Анненкову и ему самому совсем не нравился — он не увидел в поэме Христа. Он просил меня хорошо запомнить все, что Блок скажет об этом рисунке. Я попросил Александра Александровича подробнее рассказать, каким он представляет себе Христа в поэме.

Я слушал рассказ Блока о том, как возник образ Христа в «Двенадцати», как стихотворение, как поэму, и я решил, как только приду домой, обязательно запишу его. Но, испугавшись вдруг, что, пока дойду домой, могу что-то утратить, я попросил Блока написать Анненкову свой отзыв о рисунках, что он тут же при мне и сделал.

Вот что писал Блок:

«Пишу Вам по возможности кратко и деловито, потому что Самуил Миронович ждет и завтра должен отправить письмо Вам.

Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественной мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — бо-

лее чем приемлемо,— т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно — небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений,— говорили с Вами сейчас,— мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее я должен спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папиросной); 2) с Христом.

1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что наиболее «не ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая —здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит изящество всей середины Вашего большого рисунка (два согнутых пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. «Хри-

стос с флагом» — это ведь — и так и не так». Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом,— это была бы исчерпывающая обложка. Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош кухонный нож в руке; но рот опять старый. А на целое я опять смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, постороннее воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко уменьшать рисунки. Нельзя ли, по Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах «убийства Катьки», которое, по-моему, настолько grand stile, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уж Вам судить.

Вот, кажется, все главное по части «критики». Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

Александр Блок».

Вернувшись домой, я находился еще под свежим впечатлением от рассказа Блока. Мне захотелось проверить

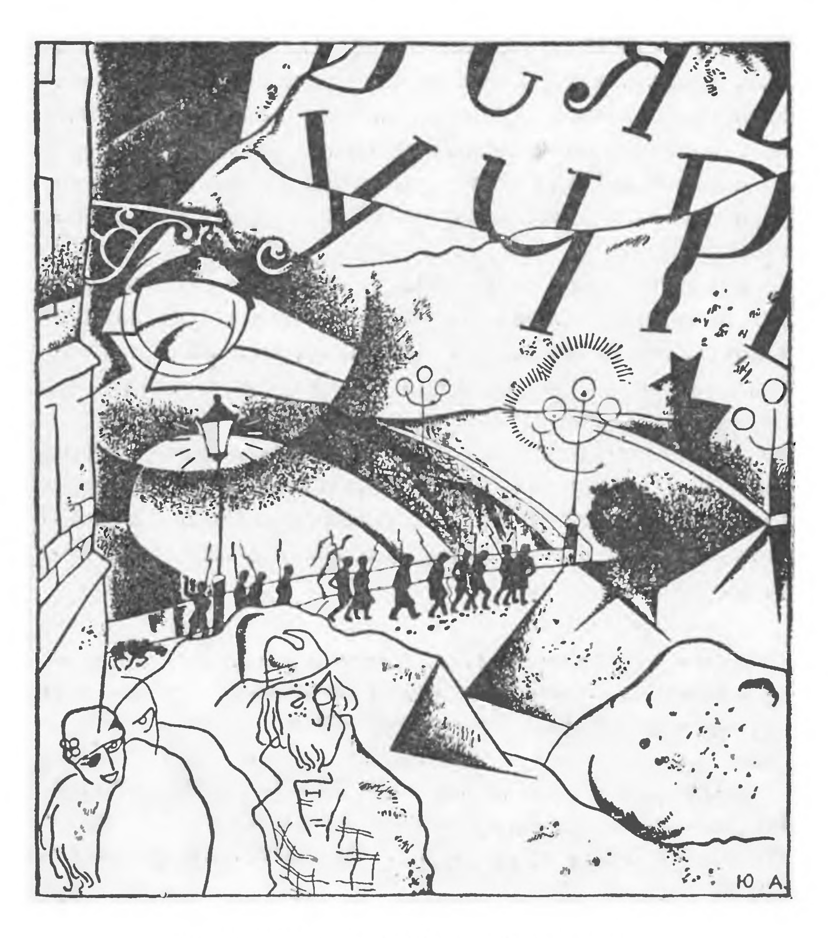


Рисунок к поэме А. Блока «Двенадцать».
Художник Ю. Анненков.

свою память, и я прочел письмо Блока, которое он дал мне для отправки. С изумлением я обнаружил, что в письме было все, что Блок говорил о рисунках, за исключением того, как возник в поэме образ Христа. Рассказ Блока произвел на меня глубокое впечатление, и я никак не мог понять, почему он не попал в письмо.

Звонить на Офицерскую было поздно, я отложил это до утра и здесь же записал рассказ по памяти, пока он не забылся.

Утром позвонил Блоку, сказал ему, что в письме пропущен рассказ о Христе и что я записал его по памяти и хочу послать эту запись Анненкову. При этом я спросил:

— Почему рассказ не попал в письмо, забыли?

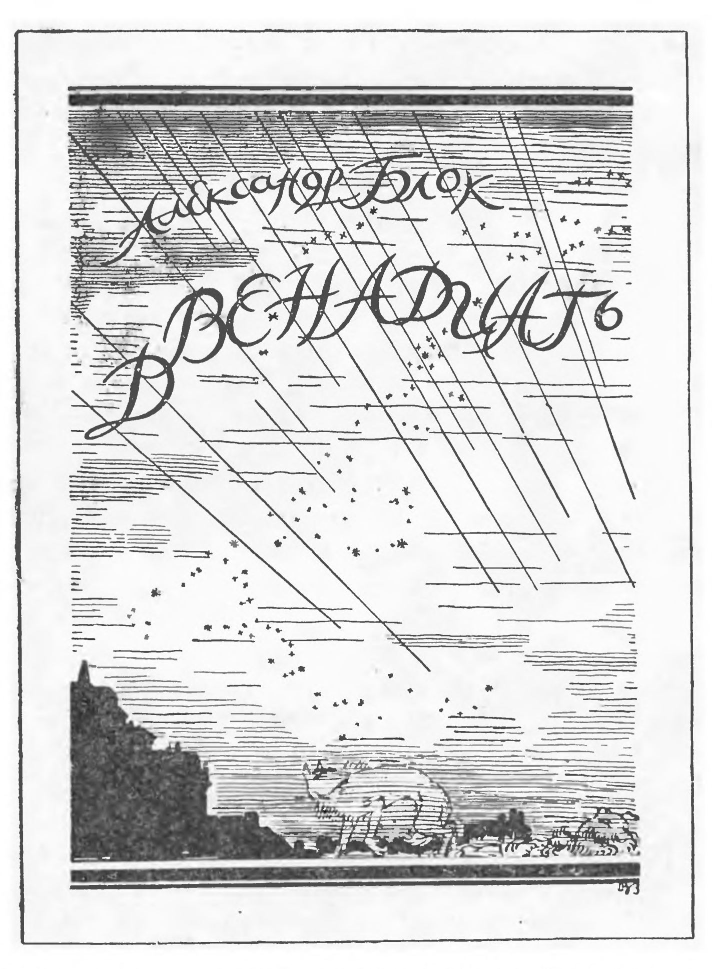
— Нет, не забыл. Мне кажется, что главное, о чем я рассказывал вам,—гораздо лучше сказано в самой поэме. Но если вы считаете, что мой рассказ поможет художнику лучше показать последнюю главу поэмы, напишите ему.

Рассказ А. А. Блока о том, как возник образ Христа в поэме „Двенадцать“

Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья слепят глаза?

Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело... Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется — вот-вот они сорвутся и вдребезги разобьются.

А снег вьется все сильней и сильней, завивая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах, она



Обложка к 3-му изданию поэмы А. Блока «Двенадцать».
Художник В. Замирайло.

мечется во все стороны, накапливая силу, чтобы вырваться на простор. Но простора нет. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается.

Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат?

Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе.

Прикованный и завороженный, тянешься за этим чудесным пятном, и нет сил оторваться от него.

Я люблю ходить по улицам города в такие ночи, когда природа буйствует.

Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос.

Этот рассказ я слышал из уст А. А. Блока 12 августа 1918 года, в тот день, когда показывал ему эскизы рисунков к поэме.

Высказанные в письме Блока замечания о героях поэмы Катьке и Петьке были точны и конкретны, а дополнительные характеристики их, особенно Катьки, были настолько исчерпывающи и так зримы, что они помогли художнику создать героев, которые останутся в изобразительном искусстве. Что же касается образа Христа, то он так и не получился.

Блок считал, что это произошло по вине автора.

...Поэма «Двенадцать» с иллюстрациями вышла впервые в конце 1918 года. Напечатана в типографии Голике и Вильборг по желанию автора в большом формате. Первый тираж этого издания вышел по подписке, в количестве 300 экземпляров. Второй тираж в том же формате вышел тиражом в 10 тысяч экземпляров, по заказу Наркомпроса.

ОБЛОЖКА «ЗАПИСОК МЕЧТАТЕЛЕЙ»

Название альманаха издательства «Алконост» долго обсуждалось писателями Петербурга и Москвы.

Было предложено много названий, и в конце концов все согласились принять название, предложенное Блоком,— «Записки мечтателей».

Предлагая такое имя альманаху, Александр Александрович говорил, что оно отвечает творчеству писателей «Алконоста», обращенному к будущему.

Предстояло заказать обложку, выбрать художника.

Советуясь с Блоком, я назвал художника Головина. Мне казалось, что на обложке хорошо было бы изобразить театральный занавес, который мог бы служить парадным входом в альманах. А кто лучше Головина сделает занавес? Вспомнились последние театральные занавесы Головина к спектаклям, поставленным Мейерхольдом: «Дон-Жуан» и «Маскарад» в Александринском театре, «Борис Годунов» в Мариинском театре, и мы решили просить Всеволода Эмильевича познакомить нас с Головиным.

Мейерхольд обрадовался поводу повидаться с Головиным и предложил:

— Поедем к нему все втроем! Александр Яковлевич будет рад. Кстати, посмотрим, над чем сейчас старик работает.



Обложка к альманаху «Алконоста» — «Записки мечтателей».
Художник А. Головин.

Мы условились поехать в ближайшее воскресенье. Головин жил за городом, в Царском Селе под Петербургом (теперь город Пушкин).

Блок поехать не смог, и мы отправились вдвоем с Мейерхольдом. В поезде Всеволод Эмильевич расспрашивал о «Записках мечтателей», о том, кто и что там будет печатать и о какой обложке мы думали. А когда узнал о нашем намерении просить Головина сделать для обложки занавес, воскликнул:

— Почему занавес? Ведь не только пьесы собираетесь вы печатать в альманахе? — И добавил: — Нет уж, занавес оставьте театру, а вам надо придумать сюжет, связанный с названием альманаха — «Записки мечтателей». Надо подумать, какие они, сегодняшние мечтатели. Думаю, что пока они еще крепко связаны с прошлым, они только мечтают о будущем...

Так вслух размышлял Мейерхольд о мечтателях сначала в поезде, а потом — когда шли по аллеям Царского Села. Когда же подходили к дому, где жил Головин, он сказал:

— Кажется, придумал! Обсудим вместе с Головиным.

Александра Яковлевича Головина мы застали за мольбертом — он писал натюрморт «Цветы в вазе».

Головин обрадовался Мейерхольду, они расцеловались и долго обменивались дружескими объятиями.

Представив меня, Мейерхольд рассказал о просьбе Блока и «Алконоста». Раскритиковав нашу затею с занавесом, он начал порывисто ходить по комнате, фантазируя вслух сюжет обложки:

— Помните ли вы литографию Домье «Любитель эстампов»? Так вот, этот «Любитель эстампов» очень похож, по-моему, на сегодняшнего мечтателя. Мне кажется,

нужно нарисовать такую картину: мечтатель стоит, должно быть, на очень высокой скале, спиной к зрителю. Перед ним (под его ногами) расстилается большой промышленный город. Крыши, крыши, крыши... и кое-где — фабричные трубы. Над крышами стелется дым, который на горизонте переходит в облака, а там, дальше, сквозь дым и облака, неясно мерещится светлый город будущего.

Рассказав содержание картины, Мейерхольд обращается к Головину, просит взять бумагу и карандаш и зарисовать его, а он будет позировать в том положении, в каком видит мечтателя на обложке.

Мейерхольд подошел к двери, встал к ней лицом, спиной к художнику, засунул руки в карманы пиджака, как-то сжался, собрался в струнку и так неподвижно стоял несколько минут, пока Головин делал набросок.

Я оказался невольным свидетелем таинственного творческого процесса двух замечательных художников.

Вечером я рассказывал Блоку со всеми подробностями все, что видел и слышал. Александр Александрович улыбался, а когда я кончил, сказал:

— Очень жаль, что не поехал с вами и не видел всего своими глазами. Что касается сюжета, придуманного Мейерхольдом, я думаю, что он интересен и по мысли глубже нашего занавеса. Одно несомненно: обложка будет очень талантлива. Поздравляю.

ЮБИЛЕЙ «АЛКОНОСТА»



В марте 1919 года исполнилось девять месяцев с основания издательства «Алконост».

В бурное, полное событиями время срок в девять месяцев показался нам солидным и вполне достаточным, чтобы его отпраздновать. Ждать до года было очень долго.

Я жил тогда в доме Толстого, на Троицкой улице. Этот громадный дом занимал большой квартал. Построенный незадолго до войны, он был рассчитан главным образом на богатых жильцов. Но наряду с большими барскими квартирами один подъезд в доме владелец отвел для жильцов, снимавших отдельные комнаты. Там все было устроено, как в новых больших гостиницах: такие же длинные коридоры и такие же удобные комнаты с маленькой передней и нишей для кровати.

В одной из таких комнат я жил, и в ней решено было отпраздновать юбилей «Алконоста».

Первым на юбилей пришел Александр Александрович Блок. Он открыл приготовленный мною альбом приветствием:

Дорогой Самуил Миронович. Сегодня весь день я думал об «Алконосте». Вы сами не знали, какое имя дали издательству.

Будет «Алконост», и будет он в истории, потому что всё, что начато в 1918 году, в истории будет. И очень важно то, что начат он в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого года — равен году или десятку лет.

Да будет Алконост!

Александр Блок
1 марта 1919.

Незадолго до юбилея вышел первый номер литературного альманаха «Записки мечтателей», и Александр Александрович предложил воспользоваться юбилеем, чтобы обсудить «Записки» и поговорить о том, каковы должны быть следующие номера альманаха, как расширить круг тем и привлечь новых авторов.

Помимо основных писателей «Алконоста»—Андрея Белого, Иванова-Разумника, А. Ремизова, Константина Эрберга,— было решено пригласить на юбилей некоторых деятелей Театрального отдела Наркомпроса, где в то время работали и Александр Александрович Блок, и я: это были Мейерхольд, известный профессор-пушкинист П. О. Морозов, а также переводчик и театральный деятель Вл. Н. Соловьев; из художников были приглашены Ю. Анненков и молодой график Н. Купреянов.

Среди гостей случайно оказалась одна дама — О. А. Глебова-Судейкина, жена художника Судейкина. Она ничего не знала о юбилее, была где-то поблизости и забежала на минутку, в то время когда гости уже сидели за столом. Почти все здесь знали Ольгу Афанасьевну, обрадовались ей. Кто-то назвал ее «нечаянной радостью», и все единодушно упросили остаться с нами.

Весь этот день был для меня полон хлопот: нужно было достать вина и хоть какой-нибудь еды. Задача трудная, но в результате некоторых усилий и сложных ухищрений

гостям было предложено роскошное по тем временам угощение. «Гвоздем» стола было блюдо — гордость главного повара Дома ученых, бывшего раньше главным поваром ресторана «Вилла Родэ»,— фаршмак из воблы и мороженой картошки. Блюдо имело большой успех; думаю, однако, что и не такое знатное угощение имело бы успех. На столе были еще селедка, вобла и какие-то коржики. К этой закуске удалось раздобыть три бутылки чистого спирта.

Когда все гости собрались, Александр Александрович начал разговор о «Записках мечтателей», но длился он недолго.

Все приготовления к ужину были закончены, гостей пригласили придвинуться к столу и там продолжать беседу. Но тут разговор не клеился, пошли юбилейные речи и тосты.

Блок хотел вернуться к обсуждению, но это ни к чему не привело. Разговор вспыхивал на мгновение и тут же затухал.

Для обсуждения серьезных вопросов оказалось многовато вина и маловато закуски. Гости скоро захмелели, и, как бывает в таких случаях, голоса становились громче, а речи нескладней. Было трудно следить за мыслью говоривших.

Деловой разговор так и не состоялся.

В то время Петроград был на осадном положении, и по приказу властей после определенного часа хождение по улицам без специального пропуска запрещалось. Ночные патрули в городе останавливали не только запоздавших пешеходов на улицах, но заглядывали иногда и в квартиры, проверяли, кто живет в них, а главным образом — скрывающихся, о которых ничего не было известно домкомбеду (домовый комитет бедноты).



Обложка к книге стихов Анны Ахматовой «У самого моря».
Художник В. Замирайло.

Мои гости никаких пропусков не имели, поэтому большинство из них разошлись по домам до запретного часа. Остались только те, кто либо жил далеко, либо был расположен еще посидеть: Блок, Белый, Анненков и Соловьев. Некоторое время мы сидели за столом, допивая вино, но постепенно сон начал одолевать гостей. Анненков с Соловьевым устроились кое-как на оттоманке и скоро заснули. Белый дремал, сидя в кресле, а Блок и я оказались крепче других; мы уселись у письменного стола, который стоял у окна, как раз против передней, и о чем-то полушепотом говорили.

Наконец и нас одолела дремота, и мы прикорнули здесь же, у стола.

Осторожный стук в дверь разбудил меня.

«Нет, это не патруль,— подумал я,— те стучат громко, по-хозяйски, те не стесняются разбудить,— нет, это не они».

Однако кто же это мог быть в столь поздний час?

Открыв дверь, я увидел человека в кожаной куртке и двух матросов, увешанных патронными лентами, с винтовками за плечами.

— Вы здесь хозяин? — спросил человек в кожаном, входя в переднюю.

— Да, я, но я очень прошу вас говорить потише, там у меня несколько человек спят, не хотелось бы их будить.

— Имеется ли среди них кто-нибудь из посторонних, не прописанных здесь? — спросил он потише.

— Да, имеются. Мы праздновали день рождения, и тем, кто живет далеко, пришлось остаться. Там, видите, у стола, дремлет поэт Александр Блок,— показал я ему издали на дремавшего Александра Александровича,— он остался здесь потому, что живет очень далеко, в конце Офицерской, угол Пряжки, он не успел бы домой до запретного часа.



Л. Д. Блок, жена поэта. *1919*.



А. А. Блок и К. И. Чуковский. *Апрель 1921 года.*



А. А. Блок. *Апрель 1921 года.*



А. А. Блок. Последняя фотография. *Середина июня 1921 года.*

— Как, Александр Блок? Тот самый Александр Блок, который написал «Двенадцать»? — спросил он шепотом и вышел из передней в общий коридор, жестом приглашая и меня выйти.

— Да, тот самый Александр Александрович Блок.

— А еще кто у вас остался? — спросил он, прикрывая дверь.

Я назвал оставшихся и сказал, что все эти люди причастны к искусству.

— А почему вы не сообщили в домкомбед о том, что у вас остаются ночевать гости?

— Да потому, что никто из них не собирался оставаться, просто они задержались дольше, чем думали.

Человек в кожаной куртке на минуту задумался.

— Хорошо. На этот раз я вам поверю, но на будущее время, если не успеете предварительно, сообщайте об оставшихся у вас в домкомбед сразу после наступления запретного часа. Считайте, что на этот раз вам повезло. Хорошо, что я сам оказался с патрулем, иначе ваша именинная ночь была бы нарушена: всем вам пришлось бы прогуляться для выяснения личности. Запомните это,— закончил он, повернулся, дал знак матросам, и все они удалились.

Я остался у дверей, провожая патруль глазами. Пройдя несколько шагов, человек в кожаной куртке, начальник патруля, обернулся и, заметив меня, вернулся, подошел ко мне близко и спросил:

— А Александра Блока неужели вы не смогли уложить куда-нибудь?

В вопросе слышались резкость и досада. Не дождавшись моего ответа, начальник патруля повернулся, догнал матросов и что-то тихо начал им объяснять. Он был взволнован, и мне показалось, что он рассказывает матросам, кто такой Александр Блок.

На следующий день я узнал в домкомбеде, что с патрулем приходил сам комендант Петрограда.

Оказывается, он жил в нашем доме и захотел лично проверить несколько наиболее буржуазных квартир. А ко мне он пришел потому, что в домкомбеде заметили, что у меня собрались гости, и об этом доложили коменданту.

ДЕЖУРСТВО У ВОРОТ



В один из светлых летних вечеров 1919 года, подходя к дому на Офицерской, где жил Блок, я с удивлением увидел Александра Александровича стоящим в подворотне.

— Вы ждете кого-нибудь? — спросил я.

— Да,— с раздражением ответил Блок,— я жду здесь грабителей. Они должны скоро прийти сюда. Они намерены похитить вот этот наш дом, а я должен им помешать,— без тени улыбки добавил поэт.

Я не сразу понял, что произошло, почему так взволнован Блок, и спросил:

— Что случилось?

— Случилось и случается довольно часто: у меня дома уйма работы, и, вместо того чтобы ее делать, меня посылают стоять в воротах: охранять и беречь покой буржуев. А вам разве не приходится дежурить в воротах?

Я предложил постоять здесь вместе с ним, хотелось успокоить Александра Александровича, рассказать, как дежурят в нашем доме. Но он не захотел. Просил меня подняться в квартиру, обещая скоро прийти.

Не знаю, чем было вызвано раздражение Блока: бессмысленным ли стоянием в воротах или тем, что он просто устал за день, а может быть, тем и другим вместе. Не знаю.

Но только не видел я до того Александра Александровича таким раздраженным.

Дежурства по дому были повсюду. На дежурства назначались жильцы дома, о которых было известно, что они живут на трудовые доходы. На них домкомбед составлял расписание, кому когда дежурить. Расписание вывешивалось обычно в подворотне. В нашем доме жильцы тоже дежурили. Но они редко придерживались расписания. Они выходили во двор, когда были свободны, выходили, чтобы обменяться новостями, которых в то время всегда было много, обсудить их. Во дворе постоянно толпилась кучка жильцов, и вряд ли кто-нибудь из них интересовался расписанием.

Блок вернулся домой хмурый, неразговорчивый. Однако спустя немного времени раздражение его стало постепенно таять, и он начал меня о чем-то расспрашивать.

А за чайным столом Александр Александрович рассказывал о своем дежурстве уже в юмористических тонах. Рассказал, как, дождавшись наконец грабителей, он вступил с ними в борьбу и как ему быстро удалось их одолеть.

Блок придумал длинную смешную историю своей героической борьбы, которую закончил словами:

— Теперь буржуи могут спокойно спать. А я жду награду,— добавил он, протягивая свою чашку Любови Дмитриевне.

*

Вечером за чайным столом у Блоков почти всегда было весело. Они любили юмористический рассказ, шутку, анекдот.

Заводила всегда Любовь Дмитриевна. Она умела с юмо-

ром рассказать об увиденном и услышанном сегодня на улице, в магазине или еще где-нибудь, где успела побывать. А Александр Александрович, как бы соревнуясь, старался пересмешить жену, тоже рассказывал веселый эпизод или анекдот. И если ему не хватало наблюдений, он тут же придумывал их.

Один из таких вечеров был посвящен обстрелу новых словообразований, сокращенных названий учреждений, организаций.

Блок в шутку утверждал, что эти новые, труднопроизносимые слова придумывались футуристами — будетлянами, как их называл Хлебников. Расшифровка таких слов в семье стала игрой — кто смешнее расшифрует. Придумывались и новые словообразования, среди которых были и изобретенные Блоком прозвища матери и жены: Раймама и Райлюба.

*

Однажды, это было тоже летом 19-го года, мы сидели в столовой, пили чай. Блоки были в ударе. Много смеялись. На улице было светло. За шутками и смехом я не заметил, что давно уже наступил час, после которого хождение по улицам без специального пропуска не разрешалось. Я заспешил и сказал, что самая смешная концовка вечера впереди, когда меня задержат на улице.

Женщины забеспокоились, предложили остаться, а Александр Александрович улыбнулся, что-то озорное мелькнуло в глазах, и он сказал:

— Не спешите, все равно опоздали. Подождите минутку, я дам вам пропуск, никто вас не задержит.

Подойдя к письменному столу, он быстро что-то написал и, передавая мне голубую бумажку, на которой было написано шуточное удостоверение, серьезно сказал:

— Вот с этим удостоверением вас не задержат.

«Удостоверение» я прочитал вслух. Мы опять посмеялись. Спрятав бумажку в карман, я ушел.

А на следующий день я рассказал Блоку по телефону, что дошел благополучно до самого моего дома на Знаменской и тут только меня остановил патруль. Я предъявил «удостоверение», патруль взглянул на него, поверил мне и отпустил.

Александр Александрович долго смеялся своей выдумке.

А я с тех пор постоянно носил с собой голубой листок — это шуточное удостоверение личности.

ДВА ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЕЧЕРА В МОСКВЕ

В первые годы революции современную художественную литературу издавали мало. Крупные частные издательства позакрывались, а государственные издательства начали свою деятельность с издания политических книг; из художественной же литературы печатали только классиков. И лишь небольшие кооперативные издательства да несколько частных лиц занимались выпуском современной художественной литературы.

Книг современных писателей на рынке было так мало, что они и в самой ничтожной степени не могли удовлетворить спроса.

И вот на улицах Петербурга и Москвы все чаще и чаще начали появляться разноцветные афиши, извещавшие об авторских литературных вечерах. В народе эти вечера называли «устной литературой» или «живой литературой».

Живые встречи с писателями особенно полюбились москвичам. Места на таких литературных вечерах охотно и быстро заполнялись молодежью. И где бы эти встречи ни происходили: будь то в модном «Кафе поэтов», в Союзе писателей, во Дворце искусств, в Доме печати или в аудитории Политехнического музея, попасть туда всегда было трудно.

В 1917—1919 годах аудитория Политехнического музея была излюбленным местом митингов, горячих политических споров.

К 1920 году, когда политические страсти несколько поутихли, митинги в Политехническом музее сменили доклады и дискуссии по разным вопросам жизни, религии, искусства и литературы.

В аудитории Политехнического музея всегда происходило что-нибудь интересное, и у главного входа постоянно толпилась молодежь, чающая попасть внутрь помещения.

Там же с авторскими литературными вечерами выступали и виднейшие писатели.

Мне удалось попасть на такие вечера два раза.

Первый раз — в начале 1920 года.

Вечер Владимира Маяковского

Приехав в Москву и проходя как-то мимо Политехнического музея, я натолкнулся на обычную в этом месте толпу гудящей молодежи. Подойдя поближе, узнал, что здесь сегодня будет встреча с Владимиром Маяковским.

Мне захотелось во что бы то ни стало попасть на эту встречу с поэтом. Это было трудно, но я все же попал.

Мне приходилось бывать на выступлениях Маяковского в Петербурге, когда поэт был футуристом и ходил в желтой кофте,— интересно, каков он сейчас.

На лестнице, в проходах и особенно в аудитории было очень шумно, а когда на эстраде появился Маяковский, шум еще больше усилился, раздались какие-то резкие выкрики, рев, аплодисменты и свист.

Трудно было понять, чего здесь было больше — восхищения или негодования.

На Маяковском был обыкновенный пиджак, и выгля-

дел он человеком вполне благополучным. Могучим, повелительным голосом он перекрыл шум, царивший в аудитории, и начал читать стихи.

Читал Маяковский просто, громко, четко, будто вколачивал стихи в головы слушателей.

После каждого стихотворения шум возобновлялся. Так продолжалось все первое отделение, пока Маяковский не ушел за кулисы. Объявили перерыв. И тут публика, как по сигналу, сорвалась со своих мест. Люди бросились к эстраде. Опять шум, давка, и вдруг — удивительно эффектное зрелище: на эстраду полетели бумажки. Их было очень много, они кружились и падали на эстраду, как снег.

Захваченный этим невиданным зрелищем, я спросил соседа, что это значит. Он объяснил мне, что по существующей в Политехническом музее традиции второе отделение вечера отводится под ответы на записки-вопросы и что самое интересное в этом вечере предстоит во втором отделении, когда Маяковский будет отвечать на все эти записки. Разъяснение соседа еще больше удивило меня. У нас, в Питере, такого не бывает, подумал я, да и какие могут быть вопросы к поэту по поводу прочитанных стихов?

Вопросов соседу я больше не задавал, не хотелось показаться назойливым провинциалом. Решил ждать.

Маяковский долго собирал записки, но их было очень много, и, видно убедившись, что все равно всех не собрать, он махнул рукой и начал отвечать.

Оказалось, вопросы не имели никакого отношения к прочитанным стихам, они касались главным образом самых общих вопросов политики, литературы и искусства. Были острые вопросы, даже антисоветские, немало и пошлых. Все это походило на игру в вопросы-ответы. А в этой игре Маяковский имел большой опыт и, должно

быть, любил ее. Он отвечал быстро, находчиво и остроумно.

Позднее москвичи рассказывали мне, что и на других вечерах, особенно в Политехническом, любители этой игры в вопросы-ответы приходили прямо на второе отделение вечера с заранее заготовленными записками-вопросами, являлись ради веселого развлечения или ради неожиданного, совсем не веселого скандала.

Вернувшись из Москвы, я в тот же день зашел на Офицерскую, к Блокам, подробно рассказал о моих московских впечатлениях, рассказал, конечно, и о вечере Владимира Маяковского.

Месяца три спустя за чайным столом в семейном кругу у Блоков обсуждался вопрос, ехать ли Александру Александровичу в Москву или отказаться от приглашения московских организаций выступить на авторских литературных вечерах. В программе намечался и вечер в Политехническом музее. Обсудив этот вопрос со всех сторон, решили, что Блоку все-таки следует поехать.

Тут же Александр Александрович предложил и мне поехать вместе с ним.

В первых числах мая 1920 года мы выехали в Москву.

Вечер Александра Блока

Первый литературный вечер Александра Блока был назначен на 9 мая в аудитории Политехнического музея.

Все дни до первого вечера меня не покидала тревога

о том, как он пройдет, вернее — как пройдет второе отделение вечера. И хотя было известно решение Александра Александровича не отвечать на вечере ни на какие записки, это не могло успокоить: никто не мог заранее знать, как на это будет реагировать публика. Беспокоило и то, как отнесется Александр Александрович к враждебным выкрикам, если они раздадутся в его адрес. Ведь были же такие выкрики на вечере Маяковского. Все это приходило в голову, несмотря на то что было известно, что футуристы, от которых можно было ждать любых сюрпризов, не собираются устраивать Блоку обструкций.

Настало 9 мая. Мы пришли с Александром Александровичем к зданию музея задолго до объявленного часа начала вечера и увидели ту же картину, что и в памятный мне вечер Маяковского. Громадная толпа молодежи заполнила площадь перед музеем, вход в помещение был забит, и люди, пришедшие с билетами, не могли попасть внутрь.

Пока мы обсуждали, как нам быть, нас затянуло в толпу, а там мы лишились возможности продвигаться самостоятельно. Нам изрядно намяли бока. Александр Александрович каким-то образом оказался впереди меня. Эта толкотня ему, видно, нравилась, он то и дело оборачивался, ища меня глазами, а когда находил, то весело и подбадривающе улыбался мне. Он будто помолодел в этой толпе. Хорошо, что никто здесь не знал его в лицо.

Вдруг я увидел, как в дверях какой-то человек схватил Блока под руку и втащил его внутрь, в подъезд. Оставшись один, я продолжал беспомощно барахтаться в толпе. А когда наконец уже добрался до заветной двери, там опять показался человек, который уволок Блока. Надрываясь, он выкрикивал мою фамилию над самым моим ухом. Человек этот оказался представителем администрации. Он с трудом протащил нас в подъезд, проводил в узенькую

длинную комнату, примыкавшую к эстраде, и помчался обратно к входным дверям, чтобы встретить еще кого-то или наладить порядок. Неизвестно, наладил ли он порядок у входных дверей, здесь же, в аудитории, на лестнице и в проходах царили хаос, невероятный шум и толкотня. Буквально все было забито людьми.

В комнате, куда провел нас администратор, Александра Александровича окружили московские друзья, пришедшие пожать ему руку. И неизвестно, чем Блок был больше взволнован — предстоящим ли выступлением или встречей с друзьями.

Мне захотелось послушать Блока вместе с публикой, из зала.

Я с трудом пробрался к дверям аудитории. Когда мне удалось наконец занять устойчивую позицию у стены, вновь вернулась тревога за Блока.

Вспомнился Маяковский на этой эстраде. И, сравнивая с ним Блока, я понимал все преимущество Маяковского: громадный рост, могучий голос, уверенный, грубовато-волевой тон — все это, вместе взятое, способно было прекратить любой шум, приковать к себе внимание, завоевать власть над толпой. Я всматривался в лица людей, пришедших на вечер Блока, и мне казалось, что вижу тех же людей, которых видел на вечере Маяковского.

В голову лезли и другие сравнения. Вспомнился знаменитый актер МХАТа В. И. Качалов, который любил выступать с чтением стихов Александра Блока.

Природа одарила этого актера необыкновенным богатством: он обладал бархатным голосом неотразимого обаяния, крупной фигурой, богатой мимикой и великолепным жестом — словом, всем, что помогает таланту актера.

Но когда мне приходилось слушать стихи Александра Блока в исполнении Качалова, я не мог отделаться от чувства досады. Все внешние данные Качалова оставались

только внешними. Чтение стихов не имело никакого отношения к поэзии Блока, оно больше походило на упражнение или пробу голоса, будто в стихах поэта не было ни мысли, ни музыки.

Однако обаяние качаловского голоса было так велико, что казалось, вздумай артист прочесть с эстрады скучнейшую статью или обеденное меню ресторана, это чтение все равно вызвало бы бурю аплодисментов.

И вот сейчас, после вечеров Маяковского, после вечеров Качалова, перед москвичами предстоит выступить застенчивому, тихому, скромному Блоку, выступить перед огромной аудиторией, перед собранием неизвестно как настроенных людей.

Было отчего волноваться!..

Постепенно шум стих, Александр Александрович вышел на эстраду. Казалось, что он взволнован. Зал встретил его аплодисментами. Аплодисменты всё нарастали и продолжались несколько минут. Казалось, им не будет конца.

Александр Александрович стоял посредине эстрады, растерянно улыбаясь. Аплодисменты не прекращались. Блок обернулся к столу, стоявшему в глубине эстрады, ища у сидящих там поддержки или совета. На лице сквозь улыбку были вопросы: когда конец? Что делать? Помогите! Но там, в глубине, у сидящих за столом, он увидел те же улыбки и аплодисменты.

И только когда люди вконец отбили себе ладони, аплодисменты стихли. Поэт начал читать.

Читал он, стоя посредине эстрады, опираясь обеими руками на спинку стула.

В голосе Блока не было ни бархата, ни металла, на лице не было видно какой-либо мимики, не было и жестов.

Александр Александрович читал своим обычным глуховатым голосом, просто и довольно тихо, казалось, даже монотонно, без интонаций. Читал он так, как читал стихи у себя дома — для своих. Не было никаких внешних или внутренних приемов чтения. И было совсем непонятно, какими тайнами владел поэт, чтобы так приковать внимание людей.

А тайна крылась в самих стихах, в их необыкновенном звучании.

В зале было так тихо, что было слышно дыхание толпы. И после прочтения стихотворения тишина продолжалась еще какие-то секунды, прежде чем взрывался гром аплодисментов.

И так после каждого стихотворения. Толпа была взволнована и долго не отпускала Блока.

Во время перерыва я пытался пробраться в артистическую, хотелось поздравить Блока, но в небольшой комнате набилось столько людей, что нечего было и думать подойти к нему, и мы лишь издали перебросились улыбками. Он понял мои чувства и привет.

После перерыва Блок вышел, встреченный новой бурей аплодисментов. За ним на эстраду устремились все те, кто окружал его в артистической. Вся эстрада оказалась заполненной людьми, и лишь посредине остался маленький пятачок, на который Александр Александрович с трудом пробрался.

В зале публика бросилась со своих мест к краю эстрады, и таким образом Блок оказался окруженным живой стеной со всех сторон.

Из зала на эстраду полетело несколько записок. Кто-то из стоявших там подобрал их и оставил у себя.

Блок долго еще читал стихи, и чтение перемежалось взрывами аплодисментов.

Последним на этом вечере поэт прочитал стихотворе-

ние, которое особенно любил читать,— «Девушка пела в церковном хоре»:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам,— плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Думаю, что публика хорошо знала это стихотворение, и может быть, именно поэтому оно сопровождалось таким триумфом, какого в этот вечер еще не было.

Я слышал это стихотворение из уст поэта много раз, и сейчас я слушал его с таким же волнением, как раньше, как слушаешь любимую музыку или как разбуженное в памяти и в сердце глубокое переживание.

Блока долго еще не отпускали с эстрады, а брошенные записки так и остались без ответа, всеми забытые.

*

Успех литературных вечеров Александра Блока в Москве побудил издательство «Алконост» устроить вечер поэта в Петербурге.

Вечер состоялся в помещении «Вольной философской ассоциации» (Чернышева площадь, 2). 29 июля 1920 года.



Афиша к вечеру Александра Блока 29 июля 1920 года.

На этом вечере Александр Александрович впервые читал не опубликованную до того времени третью главу поэмы «Возмездие» и написанное к ней, специально для этого вечера, предисловие. Читал он также и другие стихи.

АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО МАТЬ



С юных лет Александр Александрович Блок любил совершать дальние прогулки пешком в одиночестве. Он долгие часы бродил по окрестностям Петербурга — в Шувалове, Озерках и Парголове.

Отправляясь на такую прогулку, Александр Александрович всегда предупреждал об этом мать, чтобы она не беспокоилась, если он задержится. Впрочем, так поступал он всегда, во всех случаях, даже когда уходил на Моховую улицу во «Всемирную литературу», если опасался, что может запоздать.

Такой порядок, как рассказывала мать, установился очень давно, еще с гимназических лет Сашеньки.

И в тех случаях, когда Александр Александрович задерживался, Александра Андреевна приглашала наиболее близких людей в свою комнату.

Это была длинная, узенькая комната, в которой стоял письменный стол с креслом, небольшой диван и кровать. Над столом, на стене висел большой карандашный портрет Блока, сделанный художницей Татьяной Гиппиус, там же висело несколько фотографий Александра Александровича, снятых в разные годы его жизни, а на столе, в рамочках, стояли последние снимки поэта.

Мать поэта, Александра Андреевна Кублицкая-Пиот-

тух (фамилия второго мужа), была невысокого роста, худенькая и совсем седая. Она постоянно зябла и даже в теплые дни куталась в бархатную пелеринку, отороченную мехом.

Она казалась слабенькой и хрупкой.

Александра Андреевна, внимательная и сердечная, особенно к людям, к которым ее Сашенька был дружески расположен, встречала гостя приветливо, усаживала поудобнее и забрасывала вопросами о родных, близких, знакомых и о делах. Все эти вопросы не воспринимались как обычная вежливая внимательность,— наоборот, мать поэта, как и сам Александр Александрович, обладала редкой способностью задавать вопросы и выслушивать гостя с такой искренней и дружеской заинтересованностью, которая вызывала в ответ в собеседнике самые откровенные излияния.

Я был одним из тех, кто пользовался у Александры Андреевны расположением и доверием, и очень этим гордился.

Мне были дороги тихие и уютные вечера на Офицерской, когда я заставал Александру Андреевну одну; я знал, что услышу новый рассказ из жизни молодого Блока.

Уверенная, что нам никто не помешает, мать поэта в такие вечера любила рассказывать о жизни семьи Бекетовых в Шахматове и разные истории про Сашеньку. Это были воспоминания о детских и юношеских годах сына: о его радостях, огорчениях и увлечениях.

Каждая мать сохраняет в памяти на всю жизнь самые разные детские занятия, забавы, шалости любимого ребенка, но, думаю, не каждая могла рассказать об этом так увлекательно и с таким юмором, как умела это делать Александра Андреевна.

Раннее детство Блока, по рассказам матери, мало чем отличалось от детства во многих других интеллигентных семьях: те же игры и забавы, те же шалости и капризы,

та же любовь к животным и растениям. Когда Саше было лет девять, он очень любил совершать длительные прогулки по Шахматову со своим дедом — ректором Петербургского университета, профессором ботаники Андреем Николаевичем Бекетовым. Во время таких прогулок дед знакомил внука с начатками знаний о природе и рассказывал ему удивительные истории из жизни растений. Они собирали гербарий и определяли растения.

Вспоминая о том, что у Сашеньки очень рано появилась особенная любовь к рифмованным словосочетаниям и к шуточным стишкам, она тут же замечала, что в этом возрасте дети часто увлекаются рифмами и словотворчеством.

Едва научившись писать буквы и складывать из них слова, Сашенька увлекается изданием своего журнала «Малышам», который через некоторое время переименовывает в «Кораблик», а еще позднее — в «Вестник». В журнале, кроме будущего поэта, участвуют его двоюродные братья Кублицкие-Пиоттух и другие родственники. Но постепенно журнал все больше наполняется произведениями Саши Блока в стихах и в прозе. Появляются и рисунки поэта.

В гимназические годы, по словам матери поэта, Блоком, помимо влечения к стихотворству, к сочинению разных шуток и редактированию нового журнала «Вестник», вдруг овладевает увлечение переплетным делом. Этому его научил кустарь-переплетчик. Зная, должно быть, со слов Александра Александровича, что переплетное ремесло мне знакомо и что я могу его оценить, она показывала мне переплетенные Сашенькой книги.

Вспоминая о первой любви семнадцатилетнего Блока к Ксении Михайловне Садовской (известной по стихотворениям, посвященным К. М. С.), Александра Андреевна

описывала красоту и необыкновенное обаяние этой женщины в таких восторженных выражениях, будто она и сама вместе с сыном была в нее влюблена.

В одном из последних вечеров-воспоминаний рассказы Александры Андреевны были посвящены его юношеским годам, когда в Блоке проявилось самое страстное и самое длительное увлечение — театром.

Блок мечтает стать актером, участвует во многих домашних любительских спектаклях: он исполняет сцены из «Гамлета», «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Горя от ума» и др.

Свои рассказы Александра Андреевна иллюстрирует фотографиями, на которых Александр Александрович снят в разных ролях.

Из таких вечеров-воспоминаний Александры Андреевны мне особенно запомнился последний.

Это было в первых числах апреля 1921 года. Я пришел на Офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла Александра Андреевна. После приветствий она сказала:

— Сашеньки нет дома, он предупредил, что запоздает, его вызвали на какое-то заседание. Любы тоже нет дома. Посидите у меня, пока Сашенька вернется.

Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове (соседнее с Шахматовом имение Д. И. Менделеева) и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой.

Когда речь зашла о том, как Блок волновался всякий раз, примеряя свой театральный костюм и накладывая грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бро-

сился принести воды, но Александра Андреевна остановила меня:

— Ничего, ничего, мне показалось...

Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало, она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась: видно, что-то ее тревожило.

— Знаете, с Сашенькой что-то случилось,— чуть слышно проговорила она, при этом голова ее поникла, глаза закрылись и пальцы она прижала к вискам.

Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой.

В таком положении она оставалась минуту или две, потом вдруг подняла голову, широко раскрыла глаза, повернулась лицом к двери и воскликнула:

— Сашенька, что случилось с тобой?

Машинально вслед за Александрой Андреевной я тоже повернул голову, но дверь по-прежнему была закрыта, и только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь с лестницы, резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович.

Мария Андреевна Бекетова (тетка Блока) как-то рассказывала, что Александра Андреевна и ее сын обладают способностью предвидеть какие-то события и на расстоянии чувствуют тревогу и волнение друг друга. Тогда я скептически отнесся к такой способности, хотя и замечал иногда за Александрой Андреевной необычную тревожную впечатлительность.

Сейчас я убедился, что контакт между матерью и сыном на расстоянии действительно существовал.

...Не заметив меня, Блок сразу обратился к матери, будто ее вопрос он услышал еще на лестнице:

— Сегодня весь день очень тяжелый: отовсюду тревожные слухи и мрачные рассказы. А когда шел сейчас домой, на улицах из подворотен, подъездов, магазинов, из всех щелей — отовсюду выползали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморощенная цыганщина. Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни,— они еще живы... Мама, неужели все это возвращается? Это страшно!.. Скажите,— вдруг обратился Блок ко мне,— неужели вы ничего этого не замечали?

Я никогда не видел Александра Александровича таким встревоженным. Вместе с Александрой Андреевной я пытался успокоить его, но нам это не удалось. Весь вечер Александр Александрович был взбудоражен, казалось, он никак не может отделаться от преследовавших его звуков.

Происхождение «омерзительно пошлых звуков», так взволновавших Блока, было ему хорошо известно. Звуки эти с недавнего времени «выползали из щелей» разных кафе, возникших на улицах Петербурга вскоре после объявления нэпа. Вместе с «пошлыми звуками» на свет вылезли и люди, прятавшиеся до того по темным углам. Это были спекулянты, валютчики и прочий уголовный сброд.

Чтобы объяснить состояние Александра Александровича в тот вечер, нужно рассказать о первых внешних проявлениях нэпа на улицах Петербурга, как упорно продолжали называть Петроград коренные его жители.

ПЕРВЫЕ ДНИ НЭПА В ПЕТЕРБУРГЕ



Примерно в середине марта 1921 года на самых людных улицах города — на Невском, Литейном, Большом проспекте Петроградской стороны и на других улицах — прохожие наблюдали странное оживление возле давно пустовавших, закрытых и, казалось, навсегда заброшенных магазинов. Их мыли, чистили, красили — словом, для чего-то приводили в порядок.

Среди обывателей, наблюдавших удивительное превращение вчера еще захламленных помещений в сверкающие магазины, ходили разные толки и слухи; больше всего говорили, что готовятся к открытию новые продовольственные магазины, и многим хотелось этому верить.

Слухов и предсказаний было без конца.

Тем временем работы по восстановлению и реконструкции магазинов производились непривычно быстрыми темпами, и скоро загадочные приготовления закончились.

В больших магазинах открылись блестящие кафе, а помещения поменьше заняли кустарные мастерские. Их было много, и они росли, как грибы. Если об этих мастерских судить по новым вывескам, то они должны были заниматься все только одним делом — починкой и заливкой галош.

На фоне полуголодного Петербурга сверкающие кафе и необыкновенное множество мастерских по починке галош казались явлением удивительным и непонятным. Можно было подумать, что основной потребностью населения было чинить галоши.

Первые дни вокруг «кустарных мастерских», робко оглядываясь по сторонам, медленно собирались подозрительные люди, и чем их больше было, тем нахальнее они себя держали. А через некоторое время группки, собиравшиеся у галошных мастерских, начали всё больше увеличиваться и разбухли до больших и шумных толкучек. Это были сборища темных дельцов и спекулянтов, у которых можно было купить здесь же, на улице, или им же продать золотую вещицу, царскую золотую монету или иностранную валюту. Вокруг толкучек, естественно, собирались толпы прохожих и любопытных. Тут же, в толпе, возникали и распространялись всевозможные слухи.

Кафе было гораздо меньше, но они заслуживают особого внимания.

В больших зеркальных окнах кафе, начищенных до блеска, были выставлены хрустальные вазы с белоснежными булочками, пирожками и пирожными, а рядом на серебряном подносе стояло несколько крошечных чашечек черного кофе.

Эта выставка-натюрморт возникала в глазах прохожих, как волшебный сон.

Люди подолгу стояли возле витрин кафе как зачарованные, от них невозможно было оторваться.

Выставленные яства будили далекие, смутные довоенные воспоминания и до боли дразнили голодное воображение.

В больших кафе играли музыкальные ансамбли: вен-

герские, румынские, цыганские и другие. Они набирались из среды дилетантов-любителей, а в более скромных кафе либо вовсе не было музыки, либо жалобно пиликала одинокая скрипка.

На Литейном проспекте, в Шереметевском пассаже, открылось небольшое кафе. Оно заинтересовало меня неожиданным названием: «Кофе за книгой». Быть может, такое название родилось у владельца потому, что оно соответствовало характеру Литейного как книжного проспекта, а возможно, владелец кафе был просто неравнодушен к книге.

Я зашел в кафе из любопытства. Мне захотелось увидеть, как увязывается здесь кофе с книгой и какие там бывают люди.

Помещение внутри было оформлено со вкусом: на стенах висело несколько хороших репродукций музейных картин и небольшие полочки с книгами. Я заметил там томики стихов Пушкина, Лермонтова и других классиков, а на другой полочке стояли сборники стихотворений современников: Блока, Кузмина, Ахматовой, Есенина,— видно, устроитель кафе позаботился удовлетворить разные вкусы своих посетителей. В глубине помещения у стены сидела молодая девушка. Все столики были свободны. Ни одного посетителя в кафе не оказалось.

Не успел я выбрать столик, как девушка подошла ко мне. Я попросил чашечку кофе, и застенчивая, как мне показалось, девушка вскоре принесла на подносе маленькую чашечку кофе с кусочком сахара и пирожок. Я спросил девушку:

— Почему так названо кафе?

Она покраснела и, робко улыбаясь, ответила:

— Быть может, кому-нибудь захочется посидеть здесь, отдохнуть и почитать любимые стихи.

Да, здесь было тихо и уютно. Но, выйдя из кафе, я по-

думал: на каких чудаков рассчитывал владелец кафе? Кто пойдет в кафе читать стихи? Да еще за такие деньги.

Любопытство мое было удовлетворено, но оно дорого мне обошлось.

Вечером я рассказал об этом кафе Александру Александровичу. Он улыбнулся и сказал, что обязательно зайдет туда, когда будет в издательстве «Всемирная литература»,— это ему по дороге.

В другие кафе я заходить уже не решался, но об одном большом кафе мне подробно рассказал случайно встреченный товарищ детства. Он работал в кафе скрипачом в «румынском оркестре». Его фамилия была Григорьев, а по-румынски она звучала — Григореску.

В детстве он, по настойчивому желанию родителей, учился играть на скрипке. Он ненавидел свою скрипку, и я хорошо помню, какими муками и слезами сопровождались эти уроки музыки.

Тогда он не мог и подумать, что в тяжелое время скрипка станет источником его благополучия. Товарищи Григорьева по оркестру были такими же дилетантами и такими же «румынами», как и он.

Играли «румыны» вещи несложные, все, что полегче было разучить.

Кафе, о котором идет речь, работало только по вечерам. Публика там собиралась солидная и, должно быть, богатая. Среди посетителей встречались разные люди. Одни из них — те, кто не успел бежать за границу, другие — кто не сумел бежать, а были и такие, которые никуда не собирались: они верили в скорое падение большевиков и считали бессмысленным бросать добро на произвол судьбы; эти притаились и выжидали.

По вечерам все они вылезали из берлог в свое кафе и здесь обменивались слухами и сведениями о белых, о том, где и как лучше перебраться через границу. Тут же

вербовалась молодежь в отряды белых, продавалась и покупалась иностранная валюта и золото и совершались всякие иные сделки.

В качестве официанток кафе обслуживали дамы и барышни из того же общества «бывших людей». Скромно, опрятно и в меру кокетливо одетые, они держали себя высокомерно и даже надменно, всем видом подчеркивая, что услуги свои они дарят этому разношерстному обществу в силу крайней необходимости.

Между собою они говорили, как привыкли при прислуге, только на французском языке.

«Румынский оркестр», по мнению Григорьева, мало кто слушал, и, казалось, он существует в кафе только для того, чтобы заглушать подозрительные разговоры и сделки.

Григорьев приглашал зайти к нему в кафе, обещая даже угостить чем-нибудь с музыкантского стола.

Внешний облик Петербурга заметно менялся, менялось и звучание города.

Все рассказы, слухи и наблюдения, связанные с первыми признаками нэпа, приносились Блокам на Офицерскую и там за чайным столом оживленно обсуждались. Александр Александрович внимательно слушал рассказы о всех переменах и в свою очередь делился своими наблюдениями.

Блок, как и многие в то время, переживал нэп тяжело.

Рассказ Григорьева взволновал Александра Александровича. Он сказал:

— Как мало знаем мы о том, что происходит рядом!

Мы условились непременно побывать в этом кафе вместе и самим посмотреть, как выглядит внутренняя эмиграция. Но так и не собрались. Сначала помешало недомогание Блока, а потом длительная его болезнь.

...Позднее, перебирая в памяти все этапы болезни Александра Александровича, я вспомнил тот вечер, когда он так стремительно вбежал в комнату матери, взволнованный выползавшими отовсюду звуками пошлости. Я подумал, что именно в этот вечер, когда улица переполнила поэта ненавистной ему пошлостью, именно тогда, потрясенный, он потерял душевное равновесие.

Возможно, что именно этот вечер и был началом его тяжелой болезни.

НАЧАЛО БОЛЕЗНИ БЛОКА



В апреле 1921 года здоровье Александра Александровича заметно ухудшилось: он часто уставал и жаловался на боли в сердце.

Все лишения последних лет, пережитые поэтом, подорвали его крепкий от природы организм.

Все это случилось как-то неожиданно, сразу.

Врач установил, что болезнь сердца явилась в результате перегрузки нервной системы, а признаки цинги — от нехватки в питании некоторых продуктов — мяса и жиров.

Продовольствие Блок получал по карточкам, как и все граждане, по существовавшей тогда единой общегражданской норме. Дополнением к этой норме были пайки, которые выдавались некоторыми организациями своим сотрудникам. В пайки входили только ненормированные продукты: селедка или вобла и редко когда — мороженая картошка.

Блок получал два, а иногда три таких пайка: по Дому ученых как писатель, по Большому драматическому театру как служащий, а в последнее время он получал еще паек по журналу «Красный милиционер».

...Журнал «Красный милиционер» издавался Отделом управления Петросовета по инициативе заведующего отделом, молодого человека большой культуры и инициативы Б. Г. Каплуна. К работе в журнале «Красный милиционер» были привлечены виднейшие литераторы и художники.

Здесь уместно сказать, что забота о культурном росте народной милиции не ограничивалась изданием хорошего журнала. Для работников милиции было создано также несколько студий: литературная студия, студия рисунка, скульптуры и др. Руководителями этих студий и преподавателями приглашались лучшие силы литературы и искусства.

В первые годы революции в петербургских театрах практиковались целевые спектакли, предназначенные для красноармейцев. Такие спектакли давались и Большим драматическим театром. Перед этими спектаклями Александр Александрович, как художественный руководитель театра, выступал со специально написанным вступительным словом, в котором приводились краткие сведения об авторе пьесы и разъяснялась идея спектакля.

Блоком были написаны пять таких вступлений к спектаклям, причем вступления к трем спектаклям — «Дон Карлос», «Разбойники» и «Дантон» — были напечатаны в журнале «Красный милиционер».

Авторский гонорар Блока, его заработная плата во «Всемирной литературе» и в Большом драматическом театре, зарплата Любови Дмитриевны в театре Народного дома, где она служила, и гонорар за отдельные ее выступления — все эти заработки, вместе взятые, шли на пита-

ние. И этого едва хватало на четверых (мать поэта, тетка, жена и сам Александр Александрович).

Когда с введением нэпа открылся частный рынок, на котором можно было купить некоторые необходимые продукты, оказалось, что Блокам они не по средствам.

Больше всего Александр Александрович страдал от недостатка хлеба, жиров и мяса. Чтобы приобрести эти продукты на рынке, у спекулянтов, Любови Дмитриевне пришлось продать почти весь свой театральный гардероб, а потом и ценные кружева из ее замечательной коллекции. Вещи раз от разу обесценивались, а продукты, наоборот, с такой же стремительностью дорожали. А когда вещей не стало, очередь дошла до книг, до библиотеки Александра Александровича. Книги постепенно отправлялись в «Книжный пункт Дома искусств» (так называлась книжная лавка на Морской улице) для продажи.

Разные организации нередко обращались к Блоку с предложением провести в большой аудитории его авторские вечера. Но, несмотря на то что за каждое выступление на вечере поэту сулили значительные суммы, Блок долго отвергал заманчивые предложения.

Когда же на Офицерской убедились, что все «внутренние ресурсы» недостаточны, что на них не продержаться, Александр Александрович вынужден был согласиться выступить на нескольких вечерах в Петербурге и в Москве.

ВЕЧЕР БЛОКА В БОЛЬШОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Первый большой авторский литературный вечер Александра Блока, устроенный Домом искусств, состоялся 25 апреля 1921 года в петербургском Большом драматическом театре.

Ровно за два года до того, 25 апреля 1919 года, Блок был назначен председателем режиссерского управления этого театра.

Блок и раньше выступал на литературных вечерах с чтением своих стихов, но обычно это бывало в небольших аудиториях, рассчитанных преимущественно на деятелей литературы и искусства, человек на сто пятьдесят — двести — в Доме искусств на Мойке, в Вольфиле (Вольная философская ассоциация) на Фонтанке и в Тенишевском училище на Моховой, выступал еще, как я уже рассказывал, в 1920 году в Политехническом музее в Москве.

Теперь Блоку предстояло выступить в театре, вмещающем около двух тысяч человек, и это его беспокоило; беспокоило, хватит ли голоса, будет ли слышно в последних рядах и на галерке. И, несмотря на то что некоторый опыт выступлений с этой сцены у Блока был, он все же волновался.

Рецепт, выданный А. А. Блоку доктором Пекелисом 5 августа 1921 года.

Оборотная сторона рецепта с направлением Губздравотдела в Петрогубкоммуну.



Фронтиспис «Памяти А. Блока» работы В. Г. Гельфрейха, напечатанный в «Записках мечтателей» № 6, 1922 года.

О предстоящем вечере по городу была расклеена большая афиша. Накануне открытия продажи билетов у билетной кассы театра на Фонтанке выстроилась длинная очередь молодежи. Однако счастливцев, простоявших сутки в очереди и получивших билеты, оказалось гораздо меньше, чем желавших попасть на вечер.

Но в театре каким-то таинственным образом оказалось гораздо больше людей, чем было продано билетов.

Молодежь забила все проходы в партере и на ярусах.

Администрация и контролеры, должно быть, не случайно ослабили свое усердие в этот вечер.

В первых рядах кресел сидели почетные гости: мать, жена и тетка поэта, все ведущие артисты театра, любившие поэта и гордившиеся своим художественным руководителем.

Я с трудом пробрался за кулисы. Там тоже было полно людей. Задолго до начала вечера туда собралась большая группа рабочих сцены, пришедших послушать стихи своего старшего товарища по работе. Все они принарядились, как на праздник. Сюда же пришли друзья и знакомые Блока, не сумевшие раздобыть билеты. Все эти люди толпились за кулисами у лестницы. А лестница была так забита людьми, что пришедший для съемок фотограф М. Наппельбаум едва пробрался со своим громоздким фотоаппаратом. (Кстати, на этом вечере большой мастер своего дела М. Наппельбаум сделал и оставил нам две последние и, пожалуй, лучшие фотографии поэта: на одной Блок снят один, а на другой вместе с К. И. Чуковским.)

Накануне вечера я напомнил Александру Александровичу о моей давней просьбе и его обещании познакомить меня с К. И. Чуковским. Блок сказал, что попытается сделать это завтра же в театре, перед началом вечера.

Я пришел, как мы условились, пораньше и застал Александра Александровича на сцене. Он разговаривал с директором театра Т. И. Бережным. Заметив меня, Блок что-то сказал собеседнику, направился ко мне, взял меня под руку и, улыбнувшись, сказал:

— Идемте, сейчас произойдет историческое событие: знакомство «Алконоста» с Чуковским.

Он повел меня на другой конец сцены, где Корней Иванович, готовясь к вступительному слову, просматривал свои заметки.

— Корней Иванович, разрешите представить вам,— Блок назвал меня,— моего издателя. Помните, я говорил вам о нем?

— Да, да, конечно, помню,— сказал Корней Иванович. Но по лицу его было видно, что в эту минуту он ничего не помнил.

Озабоченный своим вступительным словом, он рассеянно скользнул по мне глазами, пожал руку, бросил какой-то комплимент «Алконосту», улыбнулся Блоку и сказал ему, что он очень волнуется. Александр Александрович пожал его руку выше локтя, сказал несколько ласковых, успокоительных слов, опять взял меня под руку и повел обратно.

Блок, должно быть, понял, что для знакомства он выбрал не лучший момент, а когда мы оказались на достаточном расстоянии от Корнея Ивановича, он утешал уже меня тем, что на днях будет более удобный случай для знакомства. Он имел в виду нашу совместную поездку в Москву.

В отличие от К. И. Чуковского, Блок к этому времени уже успокоился. Он был лишь немного возбужден предстоящим выступлением.

Не стану описывать этот вечер — о нем очень хорошо



Афиша к вечеру Александра Блока в Большом драматическом театре 25 апреля 1921 года.

рассказано К. И. Чуковским в его воспоминаниях, а поэтом Николаем Брауном написана поэма-воспоминание, есть и другие воспоминания, но я их не знаю. Могу только сказать, что успех Блока был огромный. Читал он, как всегда, просто и ровно, не возвышая голоса, и удивительно, что в самых отдаленных местах зрительного зала голос его был отлично слышен (об этом мне потом говорили многие). После каждого стихотворения в зале поднимался шквал аплодисментов и выкриков. Блок стоял один на сцене. Он растерянно улыбался и ждал, когда стихнет зал.

Когда я услышал, что Александр Александрович начал читать стихотворение «Девушка пела в церковном хоре», я понял, что он читает последнее стихотворение, что больше на этом вечере он читать не будет.

Новый взрыв аплодисментов длился еще долго; казалось, у публики никогда не иссякнут силы. В зале уже начали тушить огни, а молодежь все не могла успокоиться.

Но вот наконец аплодисменты стали утихать, публика начала медленно и неохотно расходиться.

На сцене актеры театра и друзья окружили поэта, поздравляли его с успехом, благодарили. Каждый тянулся пожать ему руку.

Александр Александрович улыбался: он казался здоровым, довольным.

А в это время на Фонтанке, у выхода из театра, собралась большая толпа. Это были молодые люди, они ждали Блока и шумно обменивались впечатлениями. Им хотелось поближе увидеть любимого поэта и еще раз поблагодарить его.

...И никто из них не знал, что сейчас увидит Блока в последний раз.

На следующий день Александр Александрович с утра жаловался на усталость и в оставшиеся несколько дней до отъезда в Москву не выходил из дома.

ПОЕЗДКА БЛОКА В МОСКВУ В МАЕ 1921 ГОДА

Московские вечера Блока были назначены на первые числа мая, и, хотя Александр Александрович чувствовал себя еще нездоровым, он готовился к поездке.

1 мая 1921 года Блок выехал в Москву. Там ему предстояло выступить с чтением стихов в Политехническом музее, в Союзе писателей, в Доме печати, в итальянском Обществе Данте Алигьери и еще где-то, не помню. Вместе с Блоком в Москву был приглашен Корней Иванович Чуковский, который должен был выступать на вечерах с докладом о творчестве поэта. Я тоже поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай, если ему понадобится чем-нибудь помочь. Мать и жену беспокоило нездоровье Блока.

Когда мы оказались втроем в одном купе, Александру Александровичу пришлось второй раз знакомить меня с Чуковским, но на этот раз по просьбе Корнея Ивановича.

В дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. Желая отвлечь Блока, Корней Иванович занимал

поэта веселыми рассказами, забавными историями и литературными анекдотами. Он знал их без конца. Блок много смеялся и, казалось, порой совсем забывал о болях.

Когда Блок вернулся в Питер, то первое, о чем он рассказал Любови Дмитриевне на вокзале, было — как мы ехали в Москву и как всю дорогу Чуковский заговаривал ему больную ногу веселыми рассказами и удивительными историями.

— И знаешь,— добавил он,—заговорил: я совсем забыл о ноге.

Вся дорога в Москву, по выражению Блока, прошла в «чуковском ключе».

3 мая состоялся первый вечер Блока в Москве, в Политехническом музее, а 5 мая — там же второй. Я был на этих вечерах и видел, как Блок нервничал и волновался. Несмотря на громадный успех, сопровождавший оба вечера, поэт не чувствовал ни радости, ни удовлетворения, он жаловался на недомогание и крайнюю усталость.

Когда Блок выступал в Доме печати, а потом в итальянском обществе, я, чем-то занятый, на эти выступления не попал. А о скандале, который разыгрался в Доме печати, узнал от самого Александра Александровича на следующий день, когда мы встретились с ним на Новинском бульваре. Блок пришел туда, как мы условились. Он плохо выглядел и опять жаловался на усталость.

Блок рассказал, что из Политехнического музея его на машине привезли в Дом печати. Там он был тепло встречен, прочитал несколько стихотворений и собирался уже уходить в итальянское общество, где его ждало еще одно, третье в этот вечер, выступление, как вдруг кто-то из публики крикнул, что прочитанные им стихи мертвы.

Поднялся шум. Крикнувшему эти слова предложили выйти на эстраду. Тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать. Друзья Блока, опасаясь, что он может попасть в свалку, окружили его плотным кольцом, провели к выходу и всей толпой проводили в итальянское общество.

Казалось удивительным, что Блок рассказывал об этом скандале с полным равнодушием. В его рассказе не было даже намека на недовольство или раздражение, будто скандал этот не имел к нему никакого отношения. Больше того — когда я, возмущенный безобразной выходкой, сказал что-то нелестное о выступившем, Александр Александрович взял его под защиту: он стал уверять меня, что человек этот прав.

— Я действительно стал мертвецом, я совсем перестал слышать.

Однако страшные слова, брошенные в адрес Блока в Доме печати, не забылись им. Он не раз вспоминал их потом, вспомнил их и в поезде, когда мы возвращались в Петербург.

Хотя и на этот раз Блок оправдывал оскорбившего его человека, я почувствовал, что брошенные слова жестоко и больно ранили душу поэта.

Борис Леонидович Пастернак в своем автобиографическом очерке так рассказывает об этом вечере:

«Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве: Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея, в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был привстлив

со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собирались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят «бенефис», разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и, пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился, и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности.

Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно согласился. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины».

Блоку назвали фамилию автора недостойной выходки. Ничего больше Блок о нем не знал.

Позднее мне удалось узнать, что этот озлобленный завистник был жалким неудачником в литературе.

С каждым днем пребывания Александра Александровича в Москве самочувствие его ухудшалось: он все чаще жаловался на слабость и усталость.

Однажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком. Мы шли от Арбатских ворот по Арбату — совсем недалеко. Когда мы поравнялись с домом, в котором он остановился в этот приезд, он сказал, что едва дошел — так устал, что не знает, хватит ли ему сил дойти до лестницы и подняться до квартиры. Я проводил его и ушел в надежде, что за ночь он отдохнет и усталость пройдет. Но когда утром на следующий день я зашел за ним и спросил его о самочувствии, он сказал, что, должно быть, серьезно болен: усталость и боли в ногах не проходят и не дают покоя. Надо бы ехать домой, но друзья советуют ему показаться хорошему кремлевскому врачу.

Делясь в дороге своими впечатлениями о поездке, Блок сказал, что, в общем, он остался доволен приемом москвичей, встречей с друзьями, и даже скандал в Доме печати внес, по его словам, некоторое разнообразие.

Неожиданным было для меня сообщение Александра Александровича, что материальный результат этой тяжелой поездки оказался ничтожным и, если бы не друзья, которые добились в театре аванса за пьесу «Роза и Крест», было бы совсем плохо.

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ БЛОКА



На следующий день по приезде домой я с волнением шел на Офицерскую навестить больного; думал, что застану Блока в постели. Но как приятно я был поражен, когда дверь мне открыл сам Александр Александрович!

Подтянутый, как всегда, выбритый, с веселой улыбкой. Весь вид его говорил о том, что он рад, что вернулся наконец домой. Одна мелочь бросилась мне в глаза — на нем не было галстука и верхняя пуговица рубашки была расстегнута. По моим наблюдениям такая «вольность» в одежде обычно совпадала с хорошим настроением поэта.

От болезни будто и следа не осталось.

Был яркий, солнечный день. В комнате Блока, где каждая вещь твердо знала свое место и где всегда царил строгий, привычный порядок, я заметил, вернее, почувствовал, что на этот раз этот порядок в чем-то нарушен; но где и в чем именно, сразу не уловил.

На вопрос о здоровье Блок сказал, что хорошо отдохнул, что дома чувствует себя куда лучше, но ноги еще побаливают и поэтому выходить на улицу он воздерживается.

— Мама с тетей уехали на дачу в Лугу. Живем теперь вдвоем с Любой.

И добавил:

— Занимаюсь разбором книг, оставшихся после продажи.

Тут только я заметил, что большой книжный шкаф, стоявший у окна, раскрыт и объемистая пачка книг лежит на нижней, выступающей части шкафа.

Александр Александрович пригласил меня к шкафу, сказал, что с утра занимается книгами, и предложил, если у меня есть время и желание, продолжить вместе с ним эту работу. Он обещал показать кое-какие книги, которые могут меня заинтересовать.

Перебирая книгу за книгой, на некоторых он останавливался дольше, рассказывал, чем они ему памятны. Эти рассказы Блока о книгах походили больше на воспоминания: Александр Александрович попутно касался и людей, которые приходили на память в связи с той или иной книгой, или обстоятельств, при которых книга была приобретена.

Зная мое пристрастие к редкой антикварной и иллюстрированной книге, Александр Александрович обращал мое внимание на некоторые томики и сообщал о них сведения, которые могли бы поразить любого библиофила. Он, оказалось, хорошо знал антикварную книгу и умел ценить исключительность редкого экземпляра.

Мы простояли у шкафа довольно долго. Рассказы Блока были интересны, и я не заметил времени. Любовь Дмитриевна прервала наше занятие, предложила отдохнуть, а кстати и пообедать. За обедом он и жене рассказывал о людях, которые вспомнились ему в связи с некоторыми книгами.

От долгого стояния возле шкафа у Блока разболелась нога, и наше «путешествие по книжным полкам» пришлось отложить до следующего дня.

Александр Александрович просил меня прийти завтра пораньше.

На следующий день Блок, как и накануне, казался здоровым, бодрым и веселым. Он ждал меня. Чтобы не утомлять больную ногу, мы сели разбирать книги за столом.

Просмотрев небольшую часть книг, оставшихся на верхних полках, мы добрались и до нижних, закрытых полок шкафа. Здесь хранились рукописные журналы, издававшиеся в детстве самим поэтом (это были журналы «Малышам», «Кораблик» и «Вестник», последних было больше всего), а также большие альбомы заграничных путешествий Блока. То были большие альбомы, с фотоснимками древнеегипетского, римского и греческого искусства, а также альбомы со снимками произведений мастеров западноевропейской живописи.

Вынимая пачку детских журналов, Александр Александрович сказал, что он сам очень давно их не видел и с интересом полистает. Но не перелистывал Блок детские журналы, а бережно переворачивал страницы, исписанные крупным детским почерком, и попутно вспоминал о том, как он увлекался сочинением, перепиской и оформлением каждого нового номера. Он читал вслух все подряд: свои детские стихи, шутки, шуточные объявления и прозу, произведения родственников, сотрудников журнала, при этом от души, как ребенок, смеялся над своими сочинениями.

Вот три шутки из журнала «Малышам»:

*

12 кошек сели у окошек
И ели мошек
И картошек,
А около дома
Стояла пара сошек.
Около сошек
Была куча крошек,
А около крошек
Была куча брошек.

*

20 было воробьев
Было 40 снигирев
Мальчики кричали,
Гуси гоготали,
Ласточки летали,
Коровы мычали.

*

Распрекрасный был обед
Было 36 котлет,
Было 20 пирогов
Всех их есть я был готов.
Я их так много ел,
Что наконец даже вспотел.
Была здесь малина,
Была и бузина.

Номера журналов украшались Блоком орнаментальными и сюжетными рисунками, вырезанными из печатных журналов для взрослых. А когда Блок подрос, то и сам кое-что рисовал для своих журналов.

О детских стихах Блока и о рукописных журналах я знал раньше, из рассказов матери поэта, но никогда не видел их своими глазами. Сейчас я держал их в руках и рассматривал вместе с автором и издателем, который комментировал свои и чужие произведения воспоминаниями.

Около трех часов продолжалось мое второе знакомство с детством поэта. Последние номера «Вестника» мы просматривали, когда Блок был уже утомлен. Просмотр альбома путешествий Александр Александрович предложил перенести на следующий день.

Назавтра я пришел на Офицерскую в условленный час. Дверь открыла Любовь Дмитриевна. Она шепотом сказала, что вчера после моего ухода Александр Александрович почувствовал себя плохо и весь остаток дня пролежал, жалуясь на усталость. Она просила меня последить, чтобы

Александр Александрович не переутомлялся, а лучше всего было бы, если б можно, прервать разбор шкафа хотя бы на день-два.

Напуганный тревожными словами Любови Дмитриевны, я предложил Блоку отдохнуть хотя бы один день, но в ответ я услышал слова, истинный смысл которых дошел до меня гораздо позже.

Александр Александрович сказал, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок довольно большой архив и что на все это потребуется много времени. Вот почему ему хочется поскорее покончить со шкафом, в котором остались только альбомы путешествий, и добавил:

— Мне кажется, что альбомы путешествий по Италии могут быть интересны и вам, и, если вы не спешите, посмотрим сейчас эти альбомы.

Я понял, что у Блока большой, продуманный план работ и этот план ему не хотелось нарушать.

Прежде чем раскрыть первый альбом, Блок рассказал, как создавались эти альбомы. Путешествуя по незнакомым местам, он привозил вместо сувениров открытки с видами городов, памятников архитектуры и скульптуры, а когда посещал музеи и картинные галереи, приобретал там репродукции или фотографии картин. Для своих будущих альбомов Блок привозил из-за границы и местные иллюстрированные журналы, в которых в какой-то мере отражалось то новое, что ему удалось увидеть. Вернувшись домой, Блок под свежим впечатлением разбирал весь привезенный изобразительный материал, и то, что его больше всего поразило, он расклеивал на листах альбомов по строгому плану. Рассказ Блока дополнила Любовь Дмит-

риевна, которая присутствовала при просмотре альбомов. Она добавила, что расклейкой альбомов Александр Александрович занимался с первого дня приезда в продолжение нескольких дней и, пока не заканчивал этой работы, не выходил из дома.

Блок говорил, что собранный им изобразительный материал помог ему закрепить в памяти увиденное, и он называл свои альбомы дневниками путешествий.

Переворачивая страницы альбомов, которые, по его признанию, он давно не смотрел, Блок с увлечением вспоминал все, что ему удалось увидеть, и подробно рассказывал обо всем.

Рассказы Блока о природе Италии, об архитектуре, о музеях, хранилищах и храмах, наполненных сокровищами искусства,— все было для меня ново и необыкновенно интересно, они оставили во мне такое глубокое впечатление, что долгое время мне не хотелось видеть Италию своими глазами, я боялся увидеть ее не такой, какой увидел ее Блок, боялся утратить живое восприятие поэта.

Любовь Дмитриевна давно куда-то ушла, а интересный рассказ Александра Александровича так меня увлек, что я совсем забыл о ее просьбе проследить, чтобы Александр Александрович не переутомлялся. Я не заметил его усталости до тех пор, пока он сам не пожаловался на нее и не предложил перенести просмотр на завтра.

Так — в который уже раз — обрываются наши встречи у книжного шкафа.

Я был печальным свидетелем того, как день за днем Александр Александрович терял свои душевные и физические силы. Я думаю, что прогулки в прошлое, всплывшие воспоминания, взволновавшие поэта, тоже отразились на нем. Он жаловался на крайнюю усталость.

Теперь я приходил к Блокам во второй половине дня. Александр Александрович тревожился, что работа по просмотру рукописей подвигается очень медленно, после двух часов работы за столом он устает и ложится на диван. А когда ему кажется, что отлежался, отдохнул, он встает, но работать не может.

Александр Александрович перемогался всю вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слег и пытался работать, сидя в постели. Болезнь затягивалась, и самочувствие неизменно ухудшалось. Однако Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на Офицерскую узнать о здоровье Блока, надеялись на выздоровление, никто не думал о грозном исходе болезни.

Один Александр Александрович, должно быть, предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился.

Блок упорно боролся с усталостью и очень огорчался, что силы так скоро покидают его.

Было удивительно, что в те дни, когда Александру Александровичу становилось особенно тяжело работать, он при каждой встрече неизменно интересовался делами «Алконоста». Он спрашивал обо всем: какие книги находятся в типографии, в каком состоянии производства находятся они. Спрашивал об очередном пятом номере «Записок мечтателей», скоро ли будет набор.

Однажды Блок спросил:

— Знаете ли вы писательницу и переводчицу Мариэтту Шагинян? Она прекрасно перевела тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов». А недавно она прислала

мне сборник своих пьес. Я читаю их сейчас, она очень талантлива.

А спустя несколько дней Александр Александрович опять заговорил о Мариэтте Шагинян:

— Я прочитал пьесы Шагинян. Не знаю, сможет ли использовать их театр, но некоторые из них, по-моему, хорошо бы напечатать в «Записках мечтателей». Я очень рекомендую напечатать в ближайшем номере лучшую из этих пьес: «Чудо на колокольне» — это очень талантливо,— повторил он.— Я написал Шагинян свой отзыв. Будьте добры, передайте ей рукопись, она зайдет к вам в книжный пункт.

А еще через несколько дней Александр Александрович спрашивал меня через Любовь Дмитриевну, успел ли я сдать в набор пьесу «Чудо на колокольне» в очередной номер «Записок мечтателей».

Пьеса Мариэтты Шагинян «Чудо на колокольне» была напечатана в № 5 «Записок мечтателей», вышедшем уже после смерти Александра Александровича, в 1922 году.

Болезнь продолжала прогрессировать. Настал день, когда Александр Александрович не мог совсем вставать с постели. Доктор заявил, что больному необходимы санаторные условия, особое питание и что нужно непременно уговорить Александра Александровича согласиться на хлопоты о заграничном санатории.

О поездке для лечения за границу велись разговоры и раньше, когда Блок был еще на ногах, но Александр Александрович все время решительно отказывался что-нибудь предпринимать для этого. Он не видел большой разницы между эмигрантством, которое ненавидел, и поездкой для лечения.

Теперь, когда состояние Блока ухудшилось и организм

его ослаб, ослабло и сопротивление поэта. Теперь он уже соглашался на поездку, но просил только, чтобы это было не дальше Финляндии.

Продолжая ежедневно приходить на Офицерскую, я пытался чем-нибудь помочь Любови Дмитриевне — она совсем сбилась с ног: ей самой приходилось раздобывать нужные продукты, приготовлять питание для больного, следить за тем, чтобы не упустить время приема лекарства,— словом, забот было много, всего не перечислить. К этому надо добавить, что Александр Александрович никого не желал видеть и, кроме Любови Дмитриевны, никого к себе не допускал. На этом, кстати сказать, настаивал и доктор Пекелис. Конечно, я не мог рассчитывать на исключение и был рад, если мне удавалось хоть что-нибудь сделать для больного.

Но вот однажды, спустя дней десять после того, как Александр Александрович окончательно слег, Любовь Дмитриевна, выйдя из комнаты больного, улыбаясь, сообщает мне, что Саша просит меня зайти к нему, что он чувствует себя немного лучше и что она воспользуется временем, пока я буду у больного, чтобы сбегать куда-то, что-то достать. В улыбке Любови Дмитриевны, да и в самом ее приглашении опять мелькнула надежда. Но вместе с тем неожиданное приглашение к больному как бы парализовало меня: я растерялся и не мог двинуться с места.

— Что же вы сидите? Идите к Александру Александровичу. Он ждет вас!

Кажется, я никогда так не волновался, как в этот раз, когда входил в комнату Блока. За те дни, что мы не виделись, он изменился: похудел и был очень бледен. Он полусидел в постели, обложенный подушками.

Улыбнувшись, Александр Александрович предложил придвинуть стул поближе к постели, пригласил сесть и просил рассказать ему новости. Спросил, в каком положе-

нии набор его книги «Последние дни императорской власти» и что с «Записками мечтателей». Выслушав ответы, он сказал, что, с тех пор как совсем слег, почти ничего не может делать.

И вдруг вопрос:

— Как вы думаете, может быть, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий? — И добавил: — Говорят, там нет эмигрантов.

А спустя несколько дней Любовь Дмитриевна, открывая мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня подождать, и, как всегда, я прошел в маленькую комнату, бывшую раньше кабинетом Блока. Скоро Любовь Дмитриевна вернулась и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, что она просит меня, если не спешу, посидеть: быть может, понадобится моя помощь — сходить в аптеку.

Но не прошло и десяти минут, вдруг слышу страшный крик Александра Александровича. Я выскочил в переднюю, откуда дверь вела в комнату больного. В этот момент дверь раскрылась, и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты с заплаканными глазами. Она бросилась на кухню и разразилась громким плачем.

— Что случилось?

Любовь Дмитриевна ничего не ответила, только махнула мне рукой, чтобы я ушел. В комнате больного было тихо, и я ушел обратно в кабинет Блока, служивший теперь мне местом ожиданий, тревог и волнений.

Немного погодя я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она пришла ко мне и рассказала, что произошло. Она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство, и тот отказался, она пыталась уговорить его. Тогда

он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и швырнул их с силой о печку.

Этот рассказ сквозь слезы Любовь Дмитриевна неожиданно закончила восклицанием:

— Опять приступ! Если б вы знали, как это страшно!

По рассказам Любови Дмитриевны, таких приступов было несколько. После них обычно наступали спокойные дни, и тогда нам опять хотелось верить в выздоровление.

В наступившие спокойные дни Блок чувствовал себя настолько хорошо, что смог опять приняться за работу. Александр Александрович все чаще приглашал меня к себе.

Я привык уже к похудевшему, изменившемуся лицу поэта. Он забрасывал меня самыми различными вопросами: о моих личных делах, о делах издательства, интересовался, с кем встречаюсь, что делается в «книжном пункте» Дома искусств, где я работал по совместительству,— словом, интересовался положительно всем.

Наконец я принес Блоку долгожданные гранки его книги «Последние дни императорской власти». Он обрадовался, просил оставить их, обещая прочитать в два-три дня. Блок точно выполнил обещание: через два дня он вернул мне, как всегда, тщательно исправленную корректуру.

За корректурой я пришел утром. Блока я застал свободно сидящим в постели, он даже не прислонялся к подушкам, как прежде. Он казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. Я обратил внимание, что вокруг, на одеяле, были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем это он занимается.

Блок ответил, что просматривает свои записные книжки и дневники, а когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке — отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок совершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбнувшись, добавил, что незачем им здесь копаться.

Не знаю, был ли это у Блока приступ болезни или, наоборот, это был разумный акт поэта, уходящего навсегда и заглянувшего в будущее. В тот момент, несмотря на спокойное, улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем. Встревоженный, я вышел из комнаты и рассказал все, что увидел, Любови Дмитриевне, попросив ее немедленно отнять эти книжки, спасти их.

Любовь Дмитриевна испуганно сказала:

— Что вы, разве это возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, все просматривает,— какие-то рвет на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает отдельные листки и требует, чтобы тут же, при нем, я сжигала все, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать.

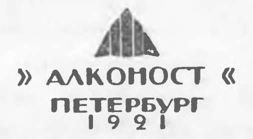
Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и записные книжки в припадке раздражения, тогда факт уничтожения меня не удивил бы. Но это происходило на моих глазах, внешне Блок оставался совершенно спокоен и даже весел. И этот «безумный» акт в спокойном состоянии особенно потряс меня.

Вспомнились первые дни после приезда из Москвы. Блок казался здоровым, бодрым, веселым; недавних болей и усталости как не бывало. Вспоминаю день за днем, с чего все это началось. Сначала просмотр оставшихся чем-то памятных и любимых книг, потом веселая прогулка в

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

ПО НЕИЗДАННЫМ ДОКУМЕНТАМ СОСТАВИЛ

АЛЕКСАНДР БЛОК



» АЛКОНОСТ «

ПЕТЕРБУРГ

1921

Обложка к книге
«Последние дни императорской власти».
Художник В. Замирайло.

детство (детские журналы); драгоценные воспоминания о дальних поездках, Италия (альбом путешествий).

После этого вспомнились слова о том, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок архив. И вот наконец очередь дошла до архива, до дневников и записных книжек.

Как систематически и точно выполняется задуманный план, будто поэт подводит всему итоги.

Уж не прощается ли он со всем, что наполняло его жизнь?

Какая длинная цепь прощальных актов!..

Последние числа июля. Александр Александрович чувствует себя значительно хуже. О состоянии больного узнаю у Любови Дмитриевны, но она очень скупа на рассказы, ее заплаканные глаза говорят больше, чем могли бы сказать слова.

Я прихожу ежедневно, а иногда и по два раза в день. В маленьком кабинете Блока жду, когда из комнаты больного выйдет Любовь Дмитриевна, жду, не пригласит ли он к себе. Про себя повторяю все, что приготовил рассказать ему, все, что его может интересовать или развлечь.

Ловлю себя на том, что приготовленные рассказы очень походят на те, которыми мы обычно занимаем больных детей или когда хотим овладеть их вниманием, завоевать расположение...

А в комнате больного тихо, необычно тихо. И кажется, что Любовь Дмитриевна слишком долго не выходит. Уж не вздремнула ли она там? Очень усталый, измученный вид у нее.

Вдруг она показывается в дверях, внешне совсем спокойная, будто каменная. Но едва только дверь за ней закрывается, она быстро идет в кухню, и оттуда доносится знакомый приглушенный плач.

Я подумал: какая она сильная! Ведь только что от постели больного. Там она оставалась, вероятно, спокойной, возможно, даже улыбалась.

1 августа пришел днем. Открывая дверь, Любовь Дмитриевна говорит шепотом:

— Плох, очень плох,— и на распухшем лице — слезы. И опять скрылась на кухню.

Я прошел в свою комнату ожидания. Я знал, что, как только Любовь Дмитриевна успокоится, непременно придет с каким-нибудь поручением. Ждать пришлось долго: впрочем, когда ждешь, всегда кажется, что время тянется долго.

Дверь в комнату больного несколько раз открывалась и закрывалась. Наконец Любовь Дмитриевна приходит, внешне совершенно спокойная.

— Саша просит вас зайти к нему,— сказала она и расплакалась, уже не скрывая слез.

Она, должно быть, понимала, что больной зовет меня, чтобы попрощаться.

Около десяти дней я не видел Александра Александровича, не ждал и сегодня этого свидания, не подготовился к нему, испугался. Продолжал сидеть.

— Идите, идите,— подбадривая меня, сказала Любовь Дмитриевна...

Александр Александрович лежал на спине. Страшно худой. Черты лица обострились, с трудом узнавались. Тяжело дышит. Лицо удивительно спокойное. Голос совсем

слабый, глухой, едва можно было уловить знакомую интонацию.

Он пригласил меня сесть, спросил, как всегда, что у меня, как жена, что нового. Я что-то начал рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я прервал рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.

— Нет, благодарю вас, болей у меня сейчас нет, вот только, знаете, слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла. Я ничего уже не слышу,— повторил он, замолчал и, будто устав от сказанного, закрыл глаза.

Я понимал, что это не физическая глухота.

Я не знал, что мне делать. Мне было очень горько, хотелось сказать ему ласковые, добрые, утешительные слова. Но слова не шли, какой-то ком сдавил горло,— боялся, не сдержусь, расплачусь.

Я понимал, что сижу у постели умирающего, близкого и очень дорогого мне человека, но мне не верилось, что он может умереть, надеялся, должно быть, на чудо.

Мне показалось, что долго сижу.

Александр Александрович тяжело дышит, лежит с закрытыми глазами, должно быть, задремал. Наконец решаюсь, встаю, чтобы потихоньку выйти. Вдруг он услышал шорох, открыл глаза, как-то беспомощно улыбнулся и тихо сказал:

— Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал.

Это были последние слова, которые я от него услышал. Больше я живого Блока не видел.

Вечером 3 августа доктор Пекелис вышел из комнаты больного с рецептом в руках. Жена осталась с больным.

На мой вопрос, как больной, Пекелис ничего не отве-

тил, только развел руками и, передавая мне рецепт, сказал:

— Постарайтесь раздобыть продукты по этому рецепту. Вот что хорошо бы получить.— И он продиктовал: — Сахар, белая мука, рис, лимоны.

4 и 5 августа я бегал в Губздравотдел.

На рецепте получил резолюцию зам. зав. Губздравотделом, адресованную в Петрогубкоммуну. В субботу 6 августа заведующего не застал. Пошел на рынок и купил часть из того, что записал. Рецепт остался у меня.

В воскресенье 7 августа утром звонок Любови Дмитриевны:

— Александр Александрович скончался. Приезжайте, пожалуйста...

ПОХОРОНЫ АЛЕКСАНДРА БЛОКА



Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа, и только во вторник 9 августа стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа.

Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно, оно в лучшем случае появилось бы в день похорон.

Организации, взявшие на себя похороны поэта — Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный большой драматический театр,— и издательства «Всемирная литература», Гржебина и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока.

Тысячу экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Моховой за четыре часа, и к семи часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета.

Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекала внимание прохожих.

Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча, поспешно расходились.

А примерно с девяти часов вечера, в канун похорон, на Офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту.

Дом Искусств, Дом Ученых, Дом Литераторов, Государственный Большой Драматический театр, Издательства: „Всемирная Литература“, Гржебина и „Алконост“

ИЗВЕЩАЮТ,

что 7-го Августа в 10½ часов утра скончался

Александр Александрович

БЛОК

вынос тела из квартиры (Офицерская, 57, кв. 23) на Смоленское кладбище состоится в Среду 10 Августа, в 10 часов утра.

Афиша о смерти и похоронах А. А. Блока.

Очередь к гробу растянулась далеко по Офицерской.

Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба, низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим.

Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать.

К моменту выноса перед домом собралась громадная толпа людей. У многих в руках были цветы.

Печальная процессия направилась по Офицерской улице мимо сгоревшей в первые дни революции тюрьмы «Литовский замок», мимо Мариинского театра, через Николаевский мост (теперь мост лейтенанта Шмидта) и дальше — по линиям Васильевского острова — на Смоленское кладбище. Из массы людей, стоявших на тротуарах, многие присоединялись к процессии.

Весь путь от дома на Офицерской до кладбища, около шести километров, близкие и друзья Александра Александровича высоко несли открытый гроб на руках.

Похоронили Александра Александровича Блока на Гинтеровской дорожке Смоленского кладбища.

СОДЕРЖАНИЕ



На фронтисписе — А. А. Блок. 1919 г.



В книге помещены фотоиллюстрации из собрания ЦГАЛИ, Пушкинского дома, Литературного музея, фотографии М. Наппельбаума и автора книги.

К читателям

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.



Для старшего возраста

Алянский Самуил Миронович

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

Ответственный редактор
К. А. Черненко
Художественный редактор
С. И. Нижняя
Технический редактор
Л. В. Гришина
Корректоры
Л. И. Дмитрюк и *Т. П. Лейзерович*

Подписано к печати с матриц 24/IV 1972 г. Формат 60×84¹/₁₆. Печ. л. 10,88. Усл. печ. л. 10,15. (Уч.-изд. л. 6,19+7 вкл.=6,9). Тираж 100 000 экз. ТП 1972 № 109Р. Цена 46 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 4000.

46 коп.

1000

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. АЛЯНСКИЙ — ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ